Д. М. СЕРРАТИ

Руководство для безупречной каторжницы

VOGLIAMO SERRATI
IN LIBERTÀ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

XIV.676

ДЖИАЧИНТО МЕНОТТИ СЕРРАТИ

Руководство для дезертира с торпедника

самое полезное из руководств

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД С ИТАЛЬЯНСКОГО
А. КОЛПИНСКОЙ

1929

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

П-04

GIACINTO MENOTTI SERRATI

„IL MANUALE D'UN PERFETTO CARCERATO“

ОТПЕЧАТАНО
в 1-й Образцовой тип.
Гиза. Москва, Пятниц-
кая, 71. Главл. А-22904.
А-15. Глз 27119. Зак. 247
Тир. 5 000

С.С.С.Р.
ИНСТИТУТ
К. Маркса и Ф. Энгельса
Ц. И. К.

30/20
29/1 257918

К читателям

Эта работа Серрати была прервана его внезапной смертью, происшедшей в то время, как он выполнял поручение, доверенное ему партией.

Он предполагал написать полное „руководство“ для заключенного. Зная в совершенстве жизнь тюрьмы, в которой он сам неоднократно сидел, Серрати хотел показать читателю все ее несправедливости, всю ее жестокость и беззаконие. К несчастью он внезапно умер, не доведя до конца свое произведение.

Перед нами встала печальная задача — привести в порядок оставленный им материал.

*Серрати давно задумал свое „руководство“: он говорил об этой работе еще с зимы 1924 года. Вскоре же было им написано введение к „руководству“, нечто вроде открытого письма, адресованного командору Гепли *.*

Конечно Серрати и не снилось поручить выпуск своей книги этому издателю. Он воспользовался этим именем просто как точкой опоры, нужной для построения его

** Популярнейший в Италии издатель всевозможных руководств и справочников. Командор — гражданский титул по ордену.*

работы. Но неожиданно быть может для него самого, предисловие это разрослось в блестящий беспощадный памфлет, столь свойственный уму и перу Серрати. Работой своей, уже полностью составившейся у него в голове, он был очень доволен и часто любил повторять, что из его произведения выйдет весьма поучительный и интересный „справочник", особенно для рабочих. Удалось ему окончательно отделать только шесть глав.

Мы собрали все его записки, лично им подобранные, и присоединили их к этим главам. Книга выйдет неполной, но даже из того, что наш товарищ успел написать и собрать, можно судить о том, что такое итальянская тюрьма.

Итальянские тюрьмы, так хорошо знакомые Серрати, теперь переполнены коммунистами и революционерами, как никогда не были переполнены в прошлом. Можно сказать, что чрезвычайные законы сделали из Италии одну большую тюрьму.

Поэтому издание записок нашего „заключенного № 48" является не только актом уважения к памяти преданнейшего бойца-революционера, но также и изданием вполне своевременным и нужным.

А. КОЛПИНСКАЯ

Джачинто Менотти Серрати

С ЦЕЛЬЮ познакомить читателя с личностью Д. М. Серрати, приводим отрывки из воспоминаний о покойном его товарищей по борьбе, а также и его противников, честно боровшихся с ним еще вчера и преклоняющихся перед его незапятнанной памятью сегодня.

* * *

«Серрати пал, находясь в первых рядах итальянской компартии и Коминтерна. Всей своей жизнью бойца и своей смертью на посту завещал он нам свою горячую революционную веру, указав рабочим-социалистам, что старые традиции революционного пролетариата продолжаются и развиваются только в мировой коммунистической партии.

Богатая фактами жизнь Серрати представляет большой интерес, так как она дает яркий образ человека, обладавшего лучшими качествами, создающими идеального революционера-бойца.

Серрати не знал усталости в периоды самой горячей борьбы; чуждо ему было и чувство безнадежности в

моменты поражений. И никогда не кружилась у него голова от чрезмерных надежд в периоды подъема и развития революции.

Его боевая закалка и выдержка позволили ему пройти через ожесточенную борьбу (особенно жестокую для него) без единого колебания, без единой минуты отчаяния. Самые тяжелые поражения, самые печальные потери не заставляли его ни на шаг сдвинуться с боевого поста.

У него бывали периоды большей или меньшей активности, но никогда не знал он отречения.

Буржуазная печать обычно изображала этого трезвейшего революционера «одержимым», жертвой «иллюзий», тогда как он был всегда яростным противником веры в чудеса истории и как никто другой стремился точно взвесить и установить истинные пределы завоеваний пролетариата в каждом его выступлении, в каждом его успехе.

Конечно и он не был нечувствителен к тем надеждам и волевым порывам к конечной победе, которые волновали сердца итальянских пролетариев в годы подъема. Он, как и все мы, верил в революцию и работал для ее осуществления, и он остался чужд скептицизму многих социалистических «вождей», которые хотели дать массам лишь то, что позволило бы им самим удержаться на командных местах.

Серрати умел верить без иллюзий и хотеть без истеризма. Его живая связь с массами, которые он любил и которыми был горячо любим, была полной противоположностью отношениям тех социалистов, которые позже старались оправдать свою «мудрость» во время «безумств» 1919—1920 гг.

И тогда, когда приход к власти фашистов и разгром рабочих и крестьян Италии, заставил многих произвести «переоценку всех ценностей» с последующим уклонением вправо, Серрати под грохот разразившейся бури также произвел переоценку собственных ошибок (большая часть которых была не только у него одного) и, мужественно отрекшись от них, решительно шагнул влево. Когда большая часть социалистов-максималистов отошла от III Интернационала и под жалкими предлогами, прикрываясь софизмами, отреклась на деле от постановления 1919 года о присоединении, Серрати пошел против течения и в 1922 году без колебаний присоединился к постановлению 1919 года.

На национальном конгрессе партии Серрати произнес следующие знаменательные слова:

«Даже в наиболее острые моменты нашей полемики и нашей борьбы я чувствовал себя и был ближе к вам, чем ко многим из тогдашней моей партии. Никто никогда не узнает, какие глубокие страдания причиняло мне это противоречие. Я верил в свою правоту, совершая самую большую ошибку моей жизни и чувствуя ее. Я вернулся к вам и, сознавая себя частью великой армии Коммунистического Интернационала, я испытываю гордость и успокоение. Я прошу только дать мне место среди вас как верному солдату пролетарской революции, отдающему всего себя, все свои силы освобождению рабочего класса».

Вне Коммунистического Интернационала нет места ничему иному кроме контрреволюции; и Серрати, учтя это, без колебаний покончил со своими сомнениями. Он сумел забыть все, отказаться от всего и возвратился верным солдатом революции в ряды комму-

стической армии. Это самый прекрасный акт его боевой жизни.

Наиболее характерной чертой Серрати как члена партии была присущая ему забота о единстве партии и о его сохранении, что для него значило единство борьбы, единство жертв, единство преследований, сообща пережитых, сумма лет каторги, вместе выстраданной. То, что бесконечно дорого и что так тяжело порвать.

С этой точки зрения Серрати может быть назван самым ярким, самым благородным и достойным представителем старого поколения традиционного итальянского революционного социализма. Поэтому становится понятна глубокая драма, пережитая этим поколением в 1919 году, и все историческое значение героического отречения Серрати и его присоединения к коммунистической партии.

Как любили его трудящиеся массы Италии, узнавшие его по-настоящему за время войны! Сильный прямолинейной волей революционера он с честью нес звание революционного вождя, униженное такими людьми, как Энрико Ферри, Артуро Лабриола, Бенито Муссолини. Популярность Серрати создалась не на больших митингах мирного времени, когда легко было потоком демагогического красноречия взволновать рабочие массы и стать знаменитостью на целую неделю. Она росла медленно, постепенно утверждаясь в самых глубинных слоях народной жизни. В траншеях Карса, в отдаленнейших углах сицильянских деревень, несмотря на то что «Аванти» выходила все в меньшем размере, знали, что газета, руководимая человеком, имя которому Серрати, не поддается ни на лесть ни на угрозы господ, и упорно отвечает «нет» от имени

рабочих каждый раз, когда кто-нибудь хотел тем или иным способом добиться от масс поддержки войне. Безусловно Серрати был тогда любим, как никогда никто из вождей партии в нашей стране.

Огромное влияние Серрати лишний раз доказывает, насколько его страстная забота о сохранении единства была искренна и мучительна для него, тем более что его вхождение в Коммунистический Интернационал вызвало новый раскол и привело к исключению его из партии, им созданной.

Факт тот, что приходом Серрати в нашу партию закончился целый период в истории рабочего движения Италии.

Старые поколения революционного социализма после долгих горестных размышлений приняли решение.

Для них стало ясно, что прежняя традиционная организация выродилась в форму без содержания, что настоящая революционная традиция была уже не там, где указывала на нее старая этикетка, что она перешла к коммунистической партии и жила в ней. Вот что значил приход тов. Серрати в нашу партию. Он отметил и санкционировал тот внутренний процесс, который подсознательно происходил в рабочей массе после ливорнского раскола в течение черных лет 1921—1922 гг., за время которого все, что было искреннего, честного и бесстрашного в революционном социализме Италии, вошло в нашу партию, радикально изменив этим существовавшее соотношение партий рабочего класса».

„Unita“, май 1926 г.
(Орган итал. комм. партии)

«Д. М. Серрати помимо своих идей, с которыми мы не согласны, был всегда человеком большого сердца и твердого характера. Отважный боец, закаленный многолетним опытом бродячей своей жизни, тревожной, скорбной, часто горестной, без радостей и улыбки, познавший человеческую неблагодарность, он никогда не стремился к материальным благам и умер бедняком, как и жил.

Перед чистой памятью этого нашего противника мы склоняемся с глубоким уважением».

„La Voce Repubblicana“, 11 мая 1926 г.
(Орган итальянской республиканской партии

«Как писатель он дал тысячи газетных статей и с сотню брошюр. Сильный в полемике, он был известен как оратор горячий и едкий в сарказме. Партия для него была религией. Дружбу он признавал только в политическом освещении: кто не был в его партии, никогда не был его другом, но всякий, пришедший к нему с партийным билетом в кармане, всегда находил место за его столом, помощь, поддержку.

Даже те, кто, как мы, были его противниками, признают за Серрати неоспоримое достоинство искренней глубокой веры в свое дело, которому он служил с жертвенной преданностью. Его жизнь была без радости, скромна, бедна. Он и умер бедняком. Это характеризует человека».

„Il Mondo“, 11 мая 1926 г.
(Орган итальянских демократов)

«Всего только пятидесяти трех лет от роду пал Джиачинто Менотти Серрати, пал, как падает дуб, внезапно пораженный молнией. Смерть его была неожиданной для всех.

С ним исчез человек убеждения, человек характера. Он не был с нами. Иногда он резко выступал против нас, и все же это общая потеря, потеря особенно чувствительная в это тяжелое время, когда многие поколебались, а другие теряются в пустой болтовне.

Нам грустно больше чем кому-либо; вдвойне грустно, ибо с ним мы хороним нашу молодость.

Вспоминается нам Тремити [1], скала, бывшая жертвенным алтарем нашего энтузиазма.

Нас, социалистов и анархистов, было тогда немного, но все мы безбоязненно высказывали наши убеждения и в тюрьму шли с песней. Сейчас, несмотря на то что нас много, мы стали риторами, и мало нас прежних. От старого легиона остался лишь отряд...

...Там, на той скале, бывшей для нас целым миром, политические заключенные, группируясь по убеждениям, составляли единую семью.

Там был уже уставший Пеллако [2], был Брага [3], тогда анархист, умерший также недавно. Был и Серрати — во время споров о методах и идеях строгий и убежденный партиец.

Потом по дисциплинарным соображениям нас разделили. Иные острова, иные дружеские кружки. Потом по отбытии наказания большие дороги мира приняли нас, бродяг без счастья, нищих, преследуемых...

В последующие годы встретились мы еще несколько раз, разделенные убеждениями, объединенные воспоминаниями.

Наш кружок на Тремити насчитывал тогда пятерых. А теперь? И о н также исчез... Он пал на посту. Смерть неожиданно поразила его; но если бы она встретилась

с ним лицом к лицу, он принял бы ее хладнокровно. Ибо это был мужественный характер.

У нас нет больше знамен, которые мы склонили бы над его прахом.

Остановимся же мыслью на нем, пока горят погребальные факелы».

„*Fede*“, 16 мая 1926 г.
(Анархический еженедельник)

I

Синьору Командору Генти, книготорговцу и всем издателям Италии

РАЗРЕШИТЕ, знаменитый синьор командор, посвятить вам и вашим почтенным коллегам эту первую главу моей книжонки. Смею уверить вас, что я делаю это не из какого-либо расчета и не в надежде на какую-нибудь выгоду, а для того, чтобы действительно послужить делу, о котором сообщу ниже, и которое есть не мое личное, но общественное дело.

Вы и прочие ваши коллеги заслужили почет и уважение нашей страны своей достохвальной работой по распространению наук и искусств. Особая ваша заслуга в издании «Руководств», знаменитых ваших руководств, которые, будучи вместе взяты, составляют

наиболее полную и интереснейшую энциклопедию, настоящий кладезь знания, тогда как в отдельности каждый из этих томиков является ценнейшим спутником, верным другом для тех, кто нуждается в руководителе по тернистому пути практических знаний. В этих своих томиках, одновременно практичных и изящных по шрифту и формату, а также и элегантному переплету, вы постепенно сосредоточили все существующие знания. Среди них я нашел руководство для строительного инженера и для повара, руководство по разведению кроликов и для игры на мандолине. Я нашел также руководства для шофера, для любителя выпиливать по дереву, для аптекаря, для рыболова. Спорт и химия, ортопедия и музыка, ботаника и ткацкое искусство, философия и рыбная ловля, мертвые языки и бактериология, изготовление хлеба и выжигание по дереву, виноделие и вышивание, — всевозможные отрасли образования и практических работ заключены в томиках, которые ясно и точно излагают, учат, объясняют. Вы сделали и с похвальным усердием продолжаете делать чудесную работу. Все граждане Италии самых разнообразных профессий и положений обязаны вам почтением и благодарностью. Поэты и бюрократы, виноделы и факторы, политики и босоногие монахи, коммивояжеры и просто обыватели: чиновники, прелаты, могильщики, моряки, коммерсанты, промышленники, банкроты, земледельцы, пенсионеры, — все, всякий гражданин нашего счастливого королевства может найти себе каждый по своему вкусу и потребности в вашей уважаемой библиотеке томик, какой ему нужен. Со страниц ваших аккуратненьких книжечек многие граждане восприняли искусство резьбы на меди, рисования

по стеклу и фотографирования. Другие почерпнули в них сведения, необходимые для деятельности монтера, механика или сапожника или альпиниста. Иные проходят по этим томикам науки и литературу и потом поучают с высоты кафедры с весьма компетентным видом других. И даже, как меня уверяют, немало членов правительства, кои нынче с таким патриотическим усердием перестраивают нашу страну длиннейшими речами и декретами, издаваемыми пачками, кой-кто из них, изучив по вашим руководствам политическую экономию, финансы и общественные учреждения, усвоил трудное и неблагодарное искусство управления народами. Не смею утверждать (к тому же вам это не доставило бы ни удовольствия ни славы, учитывая нынешние смутные времена), что кой-кто и из ненавистных и преследуемых «большевиков» почерпнул некоторые сведения по истории социализма тоже из томиков драгоценнейшей библиотеки вашей, знаменитейший синьор командор Гепли.

Тем не менее (вот почему я и обращаюсь к вашей премудрости) в этой вашей никогда не достаточно восхваляемой библиотеке есть пробел, серьезный пробел, хотя до сих пор никем не замеченный и не указанный. В ней нехватает одного руководства, знаменитейший командор, одного только в числе столь многих, наводнивших Италию. И нехватает руководства как раз самого полезного, наиболее необходимого, пригодного для любой категории граждан.

Не делайте изумленные глаза, сгоните с вашего лица выражение недоверия, потому что, как только я поясню вам мою мысль, вы, конечно, первый согласитесь со мною и быть может тотчас же постараетесь ее осуще-

ствить, поручив одному из ваших многочисленных специалистов поскорее заполнить этот пробел.

А посему соблаговолите, знаменитейший командор, проследить мою мысль, такую простую и ясную.

Обычно наши издания, именно потому что они слишком специализированы, обслуживают довольно узкий круг потребителей. Кроме национальных библиотек, разве только какой-нибудь ярый библиоман приобретает один за другим все томы, выпускаемые вашим издательством. По всей вероятности никто не читает эти издания все целиком.

Как бы ни был энциклопедичен человек, сколько времени ни находилось бы в его распоряжении, он не в состоянии интересоваться одновременно разведением шелковичного червя и американским счетоводством, моторами внутреннего сгорания и выделкой фаенцской майолики, высшей этикой и искусством жезлогадания и тому подобными знаниями, искусствами и мастерствами. Каждый займется томиком, двумя, наиболее ему подходящими, и совершенно не заботится о прочих наших изданиях. Специализация, запомните это, синьор командор, требует неизбежно ограничения числа потребителей.

Необходимо найти руководство для всех. Руководство, которое будучи и специальным, если хотите, в то же время является и общим и частным, смотря по усмотрению; которое могло бы пригодиться всякому гражданину — молодому и старому, мужчине и женщине, богатому и бедному, образованному и необразованному, слабому и сильному, всем, всем, всем.

Вот это гвоздь изданий nec plus ultra, к которому должен стремиться всякий великий артист издатель-

ского искусства, которому он должен посвятить свой мозг и свои руки.

Я, прошу извинить мою, может быть, излишнюю смелость, я горжусь тем, что нашел этот перл, скорее единственный, чем редкий, перл, которого нехватало в ожерелье созданных вами драгоценностей.

Следите, знаменитейший командор, дальше за моей мыслью.

Не все люди на свете рождаются горными инженерами или возделывателями свекловичных плантаций; не все заканчивают свой жизненный путь министрами народного образования или фабрикантами зонтиков. Это, как мне кажется, лапласовская истина.

Однако все люди на свете — горные инженеры, возделыватели свеклы, министры народного образования, фабриканты зонтиков и прочие подобного и других званий — все могут (не дай бог конечно!) попасть в тюрьму. Заслуженно или нет, надолго или на короткий срок, но нет гражданина, который был бы гарантирован от того, что в один прекрасный день перед ним не откроется, а затем и закроется дверь тюрьмы.

2579/8

Это утверждение мне кажется непреложной аксиомой.

Разрешите мне, знаменитейший командор, хотя это как бы и отвлекает меня от цели, мною намеченной, разрешите мне краткое отступление историко-демонстративного характера.

Приблизительно тридцать четыре года просматриваю я (и довольно внимательно) газетные объявления и читаю не без интереса хронику, особенно политическую, которая всегда возбуждает во мне некоторого рода лихорадку, подобную чувству, охватывающему игрока.

На протяжении этого немалого периода времени я видел такое огромное количество людей: бедных плебеев, богатых буржуа, гордых патрициев, перешагнувших роковой порог Domo petri [4], что у меня составилось твердое убеждение в том, что если не все туда попадают, то всякий может попасть. После кладбища, тюрьма без всякого сомнения место наиболее обитаемое. Можно подумать, что какая-то невидимая сила втягивает туда людей толпами без исключений, без предпочтений, как и на кладбище. С той только разницей, что мертвые мертвы и никогда не возвращаются, тогда как заключенные, хотя и кажутся как бы умершими для жизни гражданской, иногда возвращаются. Из этого вытекает необходимость для живых, тех, которые находятся «вне», считаться в некоторой степени с теми, кто сидит «внутри», если не из альтруистических или гуманитарных чувств, то хотя бы во имя заботы о себе и защиты своих собственных интересов.

Так как все могут попасть в каталажку, то она — каталажка — должна интересовать всех, и даже должна стать объектом наибольшего нашего внимания и в некотором роде заботы.

Но беда в том, что из тех, кто «вне», никто не думает о возможности очутиться «внутри», а те, кто «внутри», не имеют возможности (или имеют ее очень мало) заинтересовать собой тех, кто остался «вне».

Следовательно...

И все же сколько людей перебывало там, сколько их осталось, сколько еще будет!

Это целая армия, большая, разнообразная, странная армия, неисчислимая и пестрая, как ни одна армия в мире.

Подумайте только, знаменитейший командор, кого только нет в этой армии!

В нее попадает и уличный мальчишка, оскорбивший городского стража, и заговорщик, угрожающий государству, и гетера с тротуара, нарушившая общественные приличия, депутат или министр за взятку, банкир за мошенничество или злостное банкротство, аптекарь за отравление, акушерка за аборт. Сюда же идет оборвыш за кражу куска хлеба и элегантный международный вор, обработавший чей-нибудь толстый портфель. Идет певичка, сплутовавшая в рулетку, и иногда интендант, поставивший картонные подошвы.

Адвокаты и судьи, полицейские и солдаты... даже тюремные сторожа — все они приходят к тюрьме.

Иногда тюрьмой открывается карьера, чаще она ею заканчивается. Существуют ловкие и счастливые международные мошенники, ведущие роскошную жизнь, обладающие крупными капиталами, автомобилями, всяким движимым и недвижимым имуществом, хотя и не на свое имя (из осторожности), которые начали свою карьеру в мрачных недрах тюрьмы. Равным образом встречаются политические деятели, которые не возвысились бы к власти, если бы сначала не спустились до тюремной камеры. Добрая половина министров Савойского дома, прежде чем сделаться тюремщиками, были в свое время заключенными. Таков Криспи [5] (мир его праху), таков Никотера [6], таков Тайани [7], таков нынешний сверхпредседатель совета министров, его превосходительство Муссолини, да хранит его бог! Впрочем есть и такие, которые с министерских кресел попали на тюремные нары. Так было с Гьони Мамелли [8], первым типичнейшим финансовым спасителем возрожден-

ной Италии, который в родной Сардинии сумел собрать вокруг себя верных друзей и крупные капиталы. Но в один прекрасный день лопнул банк с капиталами, друзья смылись и сам министр очутился в тюрьме, ибо Италия еще не дошла тогда до каторжного возмездия, благодаря которому позже попали в историю растрат Танлонго [9], Лаццарони [9], Кучинелли [9] и прочие командоры и сенаторы, герои печальной эпопеи Римского банка [10].

Римский банк... Вот имя, которое пробуждает в душе воспоминания о достохвальном учреждении, объединившем в себе одном все символы «отечества, трона и веры»! Имя, с которым связан период если и не прекраснейший, то во всяком случае наиболее обильный уроками политической истории современной Италии. Даже и Джиолитти [11], «командору Джиолитти Джиованни», как бюрократически подписывается он, даже ему в те памятные дни небо показалось бы с овчинку, если бы он не догадался во-время положить между собой и «Царицей небес» [12] предел италийских границ.

Но до чего все же доходит человеческое злословие! Уверяют, что некто, много выше Джиолитти, для чьего имени «человек из Дронеро» [11] хотел принести в жертву собственную персону, что этот некто тоже должен был попасть в каменный мешок. Но «отец отечества» [13], когда был обнаружен «печатный станок» Танлонго, кормил уже червей собственной особой, а почтительный сын [14] уплатил не особенно-то красивые долги возлюбленного родителя, заслужив этим титул «благородного».

Прошу прощение за горестное напоминание об этих печальных временах. Я делаю это не для того, чтобы

разбудить стыд и горе, но установить ту непреложную истину, что даже и председатели совета министров, даже короли стоят на пороге тюрьмы, как всегда стоят на краю могилы.

А сколько с той поры людей, достигших вершины почестей, очутилось за решеткой заточения! Сколько их прошло туда с печатью позора.

И сколько других с гордостью на челе!

Те были люди, жаждавшие власти и богатства и кончившие стыдом преступления. Эти — предтечи революции, ряды восставших, смело и радостно вызвавшие в бой угнетателей. Как раз в те годы имели место аресты и заключение сначала членов комитета рабочей партии: Лаццари, Брандо, Кроче и других, затем разгром новой рабочей партии и аресты тысячами «неблагонадежных», приговариваемых к тюрьме и ссылке. Как раз в то время, когда Танлонго подделывал для себя и для короля тысячные ассигнации, правительство расстреливало и присуждало к тысячам лет каторги членов сицильянских фаший (о, славные красные фашии!) и упорных бунтовщиков Луниджьяны [15]. Тюрьмы Италии были тогда переполнены и острова ссылки перенаселены. Отважные борцы: Барбато, Верро, Монтальто, Ноэ, Петрина [16] были приговорены к десяткам лет заточения по обвинению в заговоре против государства. Весь полуостров стал каторгой, а мы на островах, нищих и прекрасных, распевали:

L'ideal, per cui pugniamo, —
No, non teme i vostri orrori,
Siam ribelli, forti siamo,
Il terror degli oppressori *.

---

* Идеал, за который мы боремся,
не боится ваших угроз.
Восставшие, мы сильны;
Ужас угнетателей — мы.

А Кавалотти [17] в это время — и с ним вся демократия — призывал Криспи к ответу пред общественным мнением.

Он обвинял его во взяточничестве, в подлоге, в двоеженстве. Он требовал предания его высшему суду. Но Франческо Криспи, тогда республиканец и заговорщик, ловко избежал тюрьмы для того, чтобы попасть в нее позже — уже монархистом и королевским министром.

И сколько, сколько их встает в моей памяти, когда я погружаюсь мыслью в те далекие времена! Вот Сбарбаро, гениальный полусумасшедший памфлетист, попавший за решетку; и Рокко де Церби, князь журналистов, изящный литератор, застрелившийся, чтобы не попасть туда.

Несколькими годами позже министр Россано [18] тоже лишил себя жизни на пороге тюрьмы, возможно что больше по вине других, чем по своей собственной. А Нунцио Нази [19] перешел из «Минервы»* в «Царицу небес» под шопот базарных сплетен и подлые обвинения людей, правивших Италией.

В 1898 году Константин Лаццари, бог весть в который раз, переступил порог тюрьмы, попрежнему гордый, попрежнему несокрушимый. Тогда же вошел в нее в первый и последний раз Филиппо Турати, слишком чувствительный, слишком аристократ для того, чтобы переносить заключение. С Лаццари и Турати прошли туда и другие с различными суровыми приговорами. Многие из них потом были депутатами, кое-кто стал министром.

---

* Министерство просвещения.

Парламент, суд и прочие общественные места, наивысшие должности и свободные профессии поглощают еще и посейчас последних каторжников.

В камере депутатов можно насчитать сотнями депутатов, испробовавших тюрьмы, кто на долгий срок, кто на короткий. Некоторые из знаменитейших юристов наших, которые сейчас непрочь «закатить» кого-нибудь, тоже некогда созерцали солнце через решетку.

Не один из современных бюрократических тузов в свое время был облечен в почетный арестантский халат политического заключенного. И среди нынешних командоров, которых сериями фабрикует новое наше правительство, найдутся такие, которые были признаны постановлениями королевских судов, простых и особых, злостными преступниками. Также и в журналистике немало найдется деятелей, вдыхавших затхлый воздух тюремных камер... не будем доискиваться почему.

Не будем также говорить об издателях. Наиболее отважные из них, чтобы не попасть в тюрьму, избрали пути морские. Кто не помнит бедняги Сомаруга? [20]

Некоторые из граждан Рима и Флоренции переступили все-таки порог «Царицы небес» и «Мурате» [21]. Иные, как добряк Бисти, по обвинению в оскорблении так называемой морали, едва коснулись этого порога; но сколько других заслуживают длительного заточения за беззастенчивую порнографическую спекуляцию на чувстве «преданности отечеству» и «отечественным установлениям...»

Я не говорю о многих других, знаменитейший синьор командор, из опасения, чтобы интерес к этому вопросу не заставил меня заняться с излишней точностью и обильными подробностями настоящим временем, чем

я мог бы, сам этого не желая, вызвать ваше неудовольствие.

Наша эпоха приучила нас смотреть на тюрьму, и особенно на такие тюрьмы, как «Царица небес» и «С. Джиованни ин Монте» [22], с величайшим уважением, как на место пребывания героев и мучеников наших дней, которые возвышенностью духа ничем не ниже героев и мучеников времен прошедших и значительно выше их характером и отвагой. Если бы я теперь, — в то самое время, когда римская магистратура усердно старается решить вопрос, к какой категории героев отнести и какой из городов италийских должен прославить их подвиги — если бы я занялся теперь Цезарем Росси, Думини, Регацци или Вольпи [23], я рисковал бы оказаться вынужденным обстоятельствами их жизни и подвигов вручить это мое произведение высокому покровительству превосходительнейшей нравственности этих знаменитостей. Ну, не безумие ли думать так?

Посему я не буду говорить ни об этих ни о других, которых коснулась тюрьма или должна была бы коснуться. Не упомяну также ни о Польяни, ни о Барлетти из итальянского Учетного банка [24].

Итак не будем больше останавливаться, знаменитейший синьор командор, на этих отступлениях, которые касаются вас лишь постольку, поскольку вы являетесь уважаемым распространителем всякого полезного знания. Мне хотелось лишь доказать вам, что тюрьма является институтом, в высшей степени заслуживающим внимания всякого гражданина, какого бы звания он ни был, и что мое «Руководство для безупречного каторжника» вполне заслуживает места в вашей и

всякой другой известной и оцененной по заслугам библиотеке или серии. И если я в стараниях доказать это несколько увлекся, это произошло не от того, чтобы я был неуверен в аксиомной так сказать правоте моего замысла, а от слишком большой любви к нему.

Я хотел бы надеяться, что вы примете с распростертыми объятиями мой труд, особенно теперь, когда в нашей Италии объявлены новые строгости, обусловленные тем фактом, что после нашей увлекательной войны нисколько не уменьшились причины и следствия преступности. Для тех, кто не будет, согласно угрозе его превосходительства Рокко [25], повешен, готовятся новые тюрьмы. Таким образом вы окажете услугу не только лично мне, но и тем из ваших коллег, которые, согласно славной итальянской традиции, одной ногой направляются к сенату, а другой к тюрьме.

С этой надеждой, знаменитый синьор командор, прошу принять мое должное к вам почтение.

Джиачинто Менотти Серрати.

II

Как в нее входят

СТАРАЯ пословица, которая вероятно существует у всех народов, по крайней мере у тех, чья культура достигла института тюрьмы и каторги, гласит: «Ни за дело, ни без дела в тюрьму не попадайся». Это означает, если я не ошибаюсь, что в тюрьму легче попасть, чем из нее выйти; что двери узилища охотно открываются для тех, кто входит в него, и неохотно для тех, кто выходит; что тюремщики гораздо более торопятся засадить человека, чем судьи освободить его.

Но несмотря на то что народная мудрость повсеместно твердит об этом, род человеческий не перестает с поразительной легкостью позволять засаживать себя в тюрьму. Подавляющее большинство граждан направляется в тюрьму с тем бессознательным обалдением, с которым домашняя птица позволяет запихнуть себя в корзину, отправляемую на рынок. Только внутри она пищит и бьется и всячески старается вырваться на свободу, но крепки прутья клеток и напрасны все усилия. Примерно то же происходит и с потомством Адама.

Первый раз входишь в тюрьму ошалелым, не вполне сознавая, что происходит, а затем возвращаешься в нее снова, хочешь или не хочешь, возвращаешься потому же, почему однажды выпивший будет опять пить.

Из числа заключенных по крайней мере 55% рецидивисты по особым или по обычным преступлениям, иногда по тем и другим вместе. Буржуазное правосудие с его полицией, с его кодексами, судебными чиновниками, исправительными домами — такая путаница, в которой всякий, соприкасающийся с ним, сначала бывает схвачен, а затем «подвергнут».

Поэтому тюрьма, созданная (по крайней мере таково было ее первичное назначение) для борьбы с преступлением, является огромнейшим рассадником его. Свобода часто смягчает преступника, тюрьма постепенно, упорно, систематически его развращает... Однако я начинаю писать общеизвестные истины.

Вспоминаю например мой первый визит в тюрьму. Это было веселое заключение. Потом пришли печальные, весьма печальные... И много их было, и я ничуть не исправился, наоборот я утвердился в том роде преступлений, за которые меня арестовали в первый раз.

Это было в сентябре 1893 года.

В Эг Морт [26] орда французских рабочих, опьяненных национальной ненавистью, напала на итальянских пролетариев, работавших в местных копях за сниженную плату, избила их, некоторых убила. Волна шовинизма и ксенофобии охватила всю Францию. Во многих городах избивали итальянцев, особенно скверно было в Марселе, где произошли жестокие итальянские погромы. Случай в Эг Морт был только предлогом. В то время политика итальянской буржуазии была повер-

нута лицом к Германии, и Франческо Криспи, руководивший ею, прилагал все усилия к тому, чтобы посеять раздор между Италией и ее западной «сестрой»*. Последним актом Криспи был разрыв коммерческого договора с Францией.

Правительственные газеты и официозы обеих стран усиленно раздували огонь недоброжелательства; экономический кризис, достаточно серьезный, способствовал общему возбуждению; шовинизм вышел на улицу.

Известия, приходившие из Франции после событий в Эг Морт и Марселе, вызвали патриотический подъем наших националистов, уже готовых к взрыву. В главных городах Италии произошли манифестации; под крики: «Долой Францию!» освистывались послы и консулы «дружественной» нам республики.

В Милане «умеренные», во главе с «Коррьере делла Сера» [27], конечно устроили шумную, хотя и немногочисленную демонстрацию в Галлерее **, на Корсо, по улице Данте и особенно на пьяцца Домо.

Тогда нас — социалистов — было немного. Молодые (я тоже был молод тогда!) пытались устраивать то там, то здесь контрдемонстрации, сначала без успеха и в мизерном количестве; затем и успех и число участников возросли. На пьяцца Элитика и в Эдеме*** произошли стычки между нами и националистами.

Мало-по-малу манифестации стихли, но волнения не улеглись, площадь очутилась в руках хулиганствующей молодежи, которая любит насладиться осадками политических движений Милана.

---

* Францией.

** Известный модный пассаж в Милане.

*** Один из театров Милана.

В один из вечеров несколько социалистов: Луиджи Монджини, Бонатти, ди Марцио, я и другие находились на площади возле памятника Виктору Эммануилу. Карабинеры и солдаты производили на площади быстрые эволюции с тем, чтобы очистить ее от банд подростков, которые некоторым образом тоже демонстрировали, подражая взрослым.

Зрелище было забавное, и мы не без удовольствия наблюдали за этими военными упражнениями.

Внезапно к нам приблизился патруль, сопровождавший в Сан-Феделе [28] группу подростков в наручниках. Капитан карабинеров, очевидно возмущенный этим нелепым арестом, приказал немедленно освободить мальчишек.

Луиджи Монджини, великолепный образчик отважного бойца и постоянный предводитель наших демонстраций, шумно зааплодировал капитану.

— Арестуйте его! — закричал сзади один из «делегатов» общественного порядка. — Он аплодирует иронически.

Немедленно отряд стражи окружил Монджини. Тот запротестовал. Я запротестовал также.

— А, вы протестуете? — завопил делегат.

— Конечно протестую!

— Арестуйте и этого!

Нас отвели в Сан-Феделе.

Я попал в тюрьму в первый раз, и мне уже казалось, что мученический венец засиял над моей белокурой головой. Ну и венец же был!

Нас впихнули в огромную квадратную камеру, еле освещенную керосиновой лампочкой, которая коптила под самым потолком. Вдоль одной из стен тянулось

нечто вроде деревянного помоста. С другой стороны в глубине были расположены ушаты, наполненные всевозможной дрянью, смердящие так, что волосы сами собою вставали дыбом. Пол, залитый жидкой грязью, был усыпан апельсиновыми корками, яичной скорлупой, кусками хлеба, макаронами, бобами и прочими съедобными веществами. Воздух, удушливый, гнилостный, жирный, липкий, пристающий к платью, к лицу, так густо провонял, что трудно было разобрать, гниют ли самые испарения или же вся эта невообразимая грязь начинает испаряться. На стенах, на нарах, прикрытых обрывками одеял, — повсюду эта склизкая, десятилетиями накопившаяся жижа, которой никогда не касались ни щетка, ни тряпка, обильно усеянная, как и пол, всевозможными отбросами. И в этом гнусном вертепе должна была начаться история моего мученичества!

Когда мы вступили в него, там находилось уже с десяток обитателей и после нас время от времени появлялись еще новые. Тюремный сторож открывал двери с глухим лязгом и визгом ключей, вталкивал вновь прибывшего иногда при помощи коленки и быстро запирал с грохотом и новым визгом дверь, невзирая на протесты, мольбы, угрозы и проклятия жертвы.

Постепенно этот смрадный склад тюремного мяса заполнился самым разнообразным людом. Кто плакал, кто смеялся, кто проклинал, кто жаловался; иные непечатно ругались, другие распевали. Были и такие, которые философски прохаживались взад и вперед, точно на прогулке в Галлерее, болтая о всяких делишках в этом смердящем логове, точно у себя дома.

Таким образом на протяжении нескольких квадратных метров предо мной демонстрировались разные пере-

живания, выражения, впечатления. И я наблюдал со смешанным чувством гадливости, досады, удивления и огромного интереса.

Арестовавшие меня без сомнения были свиньями, и самый мой арест подлостью. Я конечно мученик, но в душе я испытывал нечто вроде благодарности к этим арестовавшим меня свиньям, потому что мое мученичество дало мне возможность заглянуть в этот новый для меня мир тюрьмы и ее обитателей.

Переполнение нашей камеры и всего Сан-Феделе объяснялось тем обстоятельством, что по окончании патриотических демонстраций начальство наконец решило «очистить» улицы путем целого ряда облав.

Полицейская облава самая забавная вещь, какую только можно себе представить; тем более, что она дает наглядное представление о «равном для всех» демократическом правосудии.

Когда синьор квестор [29] по приказу синьора префекта [29] объявляет и организует облаву, вы можете быть уверены, что Сан-Феделе и участок при квестуре будут переполнены, но среди арестованных за весьма редкими исключениями не окажется тех, против кого принимаются все эти меры. Почти всегда эти так усердно разыскиваемые преступники весело наблюдают со стороны ловкость полиции в деле уловления наивных, ни в чем неповинных ротозеев.

Позже я узнал, что имеются специальные любители этого приятного и поучительного времяпрепровождения, которые, узнав заблаговременно о готовящейся облаве, преудобно и без всякой опасности устраиваются поближе и наслаждаются ловкими эволюциями вправо, влево, вперед и назад полицейских отрядов, громогласным

командованием, резкими звуками сигнального рожка. Начальство в трехцветном шарфе, с повелительно указующей направление тростью в поднятой руке, «делегаты» и карабинеры, состязающиеся в ловкости и снедаемые взаимной завистью — все это представляет интереснейшее зрелище. Обычно, стремясь перещеголять друг друга усердием и исполнительностью, они стараются захватить как можно большее количество «преступников» без всякого разбора, по принципу «тащи и не пущай».

Получается невообразимый хаос, в фантастической гуще которого только случайно может очутиться тот, кого ищут. В сети жадных рыболовов обычно попадает мелюзга, крупная же рыба обходит сети или прорывает их.

Так и в этот знаменитый сентябрьский вечер 1893 года в камере Сан-Феделе, кроме случайно попавших Монджини и меня, никого из «преступников» не оказалось, несмотря на обильную добычу облавы.

В числе многих попал сюда юноша, горько и искренне плакавший, чьи слезы именно благодаря нелепому контрасту его личной трагедии с общим комизмом положения вызывали гомерический хохот. Дело в том, что бедняга только что женился и в самый день свадьбы, не помню уже зачем, отлучился на миг от новобрачной на Пьяцца, где и попал в облаву. Удивленный, не понимая в чем дело и возмущенный грубой манерой, с которой его остановили, несчастный новобрачный протестовал, попробовал вырваться и был арестован и направлен в кутузку.

Первую ночь своего брака пришлось ему провести в Сан-Феделе! Жизнь любит подобные шутки, и конечно

бывают шутки и много трагичнее, но пострадавший не мог утешиться этим соображением, ни теми полуиронические увещеваниями, которые сыпались на него со всех сторон.

Заливаясь слезами, в полном отчаянии он только повторял:

— Что скажет моя Тина?!

Временами его отчаяние выливалось горестными мольбами. Он подходил к окошечку тюремной двери, стучал в нее согнутыми пальцами и умоляюще кричал:

— Синьор стража! Синьор стража! Позвольте мне по крайней мере послать записочку моей Тине, чтобы объяснить ей, что я не сбежал, чтобы успокоить ее!

Конечно никто ему не отвечал; его требование было самым нелепым: снести любовную цыдулку невинно арестованного! Тюремщики соглашаются на подобного рода услугу только для крупного преступника.

Бедняга провел всю ночь у тюремной двери, вздыхая:

— О, моя Тина, моя Тина!

Камера вторила его стонам взрывами смеха.

Вместе с нами находился еще мальчишка из булочной в белом переднике, белом колпаке и деревянных башмаках. Живой, болтливый, подвижной, он говорил о своем приключении с некоторого рода похвальбой. Он находил в этом аресте интересное приключение, прервавшее скучную монотонность повседневной жизни. Он только что снес пирожные в один из ресторанов Галлереи и возвращался к себе в лавку, когда попался в облаву и был арестован. Очутившись в каменном мешке, он был очень доволен, ибо завтра по освобождении он сможет столько рассказать об этой ночи и о том, какие «глупые бестии» делегаты общественной

безопасности. Для тринадцатилетнего мальчишки это было великим наслаждением. Теперь он мог сказать хоть самому префекту в лицо:

— Я? я бы никогда не сделал подобной глупости!

Третий «макет» нашей камеры был молодой приказчик. Он задержался в магазине для какой-то спешной работы, окончил ее, спустил железные ставни витрин, запер магазин и довольный собою возвращался домой. На Пьяцца один из делегатов признал его особой, угрожающей общественному спокойствию, к тому же и неповинующейся приказу об очищении площади. А поэтому, энергично овладев оной особой, отправил его, куда следует. Бедняга чувствовал себя довольно непринужденно в новом положении, но одна мысль его беспокоила:

— Как смогут завтра утром отпереть магазин, если ключи были со мною и их у меня секвестрировали?!

Картина запертого магазина, хозяина, напрасно поджидающего... «неверного» приказчика и собравшихся соседей, высказывающих всевозможные предположения, привела всех в веселое настроение.

— Подумать только, — заметил высокий, тощий юноша, — меня взяли, когда я пил воду у фонтана, что против виа Торино. Я наелся соленой колбасы и, так как вино дорого теперь, пошел испить водички. И за это я попал в Сан-Феделе!

— Лучше уже стать вором, по крайней мере знаешь, что тебя посадили за дело, — заключил другой юноша.

Между тем Луиджи Монджини, со своим видом распятого Христа, поучал почтенное собрание, как следует себя вести в тюрьме, по крайней мере в этой тюрьме, чтобы поскорее пробил час освобождения.

Многие из находившихся здесь знали его в лицо как отважного предводителя всех социалистических демонстраций и слушали со вниманием, ибо он был «практик», уже не раз побывавший в Сан-Феделе.

— Завтра утром без сомнения нас поведут в преторию [30], наскоро прослушают «дело» и большинство освободят, оставив нескольких за «сопротивление и оскорбление власти». Обратите внимание, какое у нас прекрасное правительство! Рвет торговые договора, от которых бедному люду была выгода, морит нас налогами на хлеб, тратит массу денег на военные расходы и в заключение тех, кто протестует, сажает в тюрьму!..

— Это что! Это что! — закричал вдруг некий элегантный вылощенный тип, до сих пор молча с расстроенным видом кусавший ногти, — это что! Оно бросает в тюрьму, в эту гнилую яму тех, кто стоит за него! Я например — я либерал, я криспианец, я горячо поддерживаю политику Франческо Криспи — и что же? Они засадили и меня! А еще жалуются, что число неблагонадежных растет. Да они сами их фабрикуют, они сами!..

Смех, аплодисменты и выкрики по адресу юного либерала, ставшего «неблагонадежным»...

Кой-кто предложил поднять его, как триумфатора. Другие в знак поощрения затянули рабочий гимн.

Так прошла эта моя первая ночь в тюрьме.

...На следующее утро, связанные как колбасы, в наручниках, мы были отвезены в преторию в огромном заржавевшем, источенном временем и червями, громыхающем тюремном фургоне.

Мы с трудом уместились в зале заседаний. Всех нас блоком защищал адвокат по назначению. Нас освободили всех. Мы вышли на свежий воздух...

Думаю, что у нас, — у несчастного новобрачного, у приказчика, у мальчишки из булочной, у рабочего, испившего водички у фонтана, у юного либерала и прочих новичков, — у всех нас навсегда осталась в памяти эта ночь в Сан-Феделе, наглядный пример того, как легко попасть в тюрьму.

К счастью на этот раз мы и вышли из нее легко. Но только на этот раз.

Во второй раз я попал в тюрьму с такой же легкостью, как и в первый раз, но выйти из нее было уже много труднее. И с этой поры начались постоянные мои тюремные «продвижения», которые привели к ряду печальных результатов, в том числе и к написанию этого моего «руководства».

...Несколько месяцев спустя после первого ареста, — это было в разгаре охоты на дроздов, — я с приятелями (отнюдь не общих со мною политических убеждений) находился в Онелии*, проводя вечера в скромной деревенской траттории**. Играли в карты, болтали, запивая шутки стаканом вина. О политике говорили мало и очень сдержанно. Больше прохаживались насчет хорошенькой хозяйки, да заигрывали со служанкой, плотной и крепкой брюнеточкой.

Одним вечером, темным и дождливым, мы засиделись в траттории до полночи, съели с дюжину дроздов, зажаренных на вертеле, и оросили их несколькими стаканами доброго вина, того, которое зажигает кровь. Выйдя на свежий воздух, мы направились домой, бесело распевая «Финикул'и, финикол'я»»***. Двое представи-

---

* Деревушка возле Генуи.

** Трактир.

*** Юмористическая песенка.

телей власти направились к нам со строгим предупреждением:

— Перестать! Если вы будете продолжать петь рабочий гимн, арестуем!

И прошли дальше строгие и непоколебимые.

В те времена в каждой казарме внушались карабинерам особенные строгости к распевающим рабочий гимн.

Предупреждение было глупо. Следовало отнестись к нему так, как оно заслуживало: не считаться с ним. И мы снова затянули:

— Финикул'и, финикол'я! Финикул'и-коля!

И снова два бдительных стража. Завязалась оживленная дискуссия по вопросу о разнице между рабочим гимном и «Финикул'и — финиколя». Было бы неверно утверждать, что мне дискуссия не доставляла удовольствия.

Мне нравилось иронически объяснять разницу между двумя мотивами, указывая на особенности темпа каждого из них. Мы уверяли, что карабинерам следует знать напамять рабочий гимн, который начинается словами: «Su fratelli, su compani!» * и кончается: «o pugnando si morrà» **, чтобы успешно охотиться за «неблагонадежными», и прочее в этом роде.

Нам казалось, что эти бедняги были убеждены моей аргументацией.

В пылу разговора мы неожиданно для себя очутились перед казармой, и так как дождик — мелкий, пронизывающий — не прекращался, я предложил зайти в ка-

---

* «Восстаньте, братья, восстаньте, товарищи».

** «В борьбе мы умрем».

зарму и там продолжить свои объяснения. Я собственноручно дернул за веревку, к которой был привязан колокольчик.

...Эту ночь мы провели на огромном столе казармы; а на следующий день, в наручниках и под двойным конвоем, нас препроводили в «королевское место заключения». Нам было предъявлено серьезное обвинение в возбуждении классовой ненависти в населении, к великому изумлению оного населения, которое и не подозревало, какой опасности подвергалось, и к неудовольствию черненькой служаночки, не понимавшей, как можно было так определить наше обхождение с нею в тот памятный вечер.

На этот раз процесс имел место через несколько месяцев. Настоящий процесс по доносу маршала * карабинеров, который, чтобы придать больше эффекта своему заявлению, сообщил, что мы той ночью, в три часа пополуночи, в горной траттории чествовали память — о ужас! — Вильгельма Обердана [31].

Процесс этот нашумел. В дело вмешалось несколько адвокатов с именем, были призваны в свидетели защиты видные граждане, но мы были обвинены, ибо следовало «пресечь» неблагонадежность, поднимавшую в стране голову.

Поэтому судьи были неумолимы и наградили нас семьюдесятью пятью днями заключения и пятьюдесятью лирами штрафа (ст. 247, код. наказ. по обвинению в призыве к классовой ненависти). Теперь буржуазная Онелия могла спать спокойно: власти раздавили главу змея-искусителя.

---

* Примерно унтер-офицер.

По этому случаю Камилло Прамполини [32] открыл торжественно социалистическую секцию в Онелии. Ох, уж эти дрозды!..

Немного времени спустя итальянский парламент вотировал закон об исключительных мерах по отношению к «анархистам», предложенный Криспи.

Один из параграфов его, именно третий, гласил, что обвиненный уже однажды в возбуждении классовой ненависти мог быть присужден к заключению на срок от одного года до пяти лет. На основании этого я был приговорен к восемнадцати месяцам тюрьмы. Вот к чему может привести необдуманный звонок...

Я привел уже два случая, доказывающих, с какой легкостью люди попадают в тюрьму. Позволю себе привести еще одно из происшествий подобного рода, случившееся со мною много позже.

Два первых показывают, как великолепная глупость наших исполнителей заполняет тюрьмы невинными и создает преступников и преступление. Третий же случай объясняет, как переполняются итальянские тюрьмы благодаря бестолковости и политической спекуляции властей.

Это было весною 1918 года, спустя двадцать четыре года после первого ареста. Я был главным редактором «Аванти» уже третий год. Течение жизни и успехи социализма и нашей партии, несмотря на мелкие преследования политических властей, правивших за этот период Италией, привели меня к этому весьма ответственному посту. Война была в полном разгаре, но явного перевеса той или другой стороны еще не было. Как два огромных чудовища, вооруженных самыми мощными средствами нападения и лишенных всякого

чувства и разума, две коалиции продолжали отчаянно поражать одна другую, без надежды на военную победу той или другой стороны, ожидая каждая полного истощения своего противника. Правительства то одного то другого из воюющих государств, наиболее измученных, пытались по секрету нащупать почву для соглашений, но безуспешно. Одна Россия подписала мирный договор в Брест-Литовске: Ленин действовал решительно. И хотя русская «трамбовка» * фактически перестала уже много раньше помогать союзникам, все же Антанта почувствовала новую брешь в своей стене с уничтожением русского фронта.

Союзники находились в тяжелом положении еще и потому, что — в отличие от центральных империй — Антанта состояла из слишком большого количества первостепенных держав, интересы которых далеко не всегда совпадали.

Те из них, которые опасались, что жертвы, ими принесенные, превысят (и на много) те выгоды, которые даст им победа, волновались, пытаясь найти за кулисами войны разрешение все более осложнявшегося вопроса о мире. Если Австрии приходилось горько, то и Италии было не сладко. А потому итальянские министры этого периода были весьма снисходительны к нам, социалистам, тем более что мы являлись лишней пацифистской картой в их игре с союзниками. Тогдашнему правительству было выгодно показать союзникам, какие трудности ему приходится преодолевать, чтобы оставаться им верным, как недовольно общественное мнение эгоистическим отношением Фран-

---

* Так союзники называли русские войска.

ции и Англии, недостаточно внимательно учитывающим нужды Италии; все это с целью добиться бо́льшей помощи финансовой и экономической. Для этого правительство так сказать распустило вожжи по отношению к «пораженческой» пропаганде. Правительство закрывало даже глаза на призывы к восстанию. Некоторые из наиболее яростных красных пораженцев заявляли, что война не кончится до тех пор, пока народ не восстанет. Кой-кто в Турине еще помнит открытые призывы к восстанию на полуоткрытых конференциях, устраиваемых даже не очень красными, приезжавшими из Рима, где специализировались в заговорах, более или менее серьезных, для свержения или составления министерств.

В этих условиях летом 1917 года прибыли в Италию представители первой (Февральской) русской революции [33].

Волна энтузиазма охватила рабочее население. Мы пересекли весь полуостров от Рима до Бардонеккиа под несмолкаемые крики: «Да здравствует Ленин! Долой войну!» Единый цвет этих бушующих дней был красный цвет. Рим, Флоренция, Болонья, Равенна, Милан, Наварра, Турин приняли представителей Советов как вестников мира.

Эти дни были вне всякого сомнения пораженческими днями. Как бы ни пытались иначе объяснять их значение наши правые, всегда боявшиеся народных манифестаций, дни эти имели вполне определенный характер: пролетариат плевать хотел на «национальную оборону».

Напрасно Гольденберг и Смирнов пытались соблюсти дипломатический тон в своих сообщениях, напрасно за-

являли, что они вовсе не хотят сепаратного мира, что не думают уклониться от исполнения обязанностей, возложенных на них союзниками. Рабочие массы понимали и чувствовали, что́ значили русские события и отвечали общим криком:

«Да здравствует мир! Да здравствует революция! Да здравствует Ленин!»

Они предугадывали вторую революцию — Октябрьскую.

Гольденберг был растерян. Он не понимал, почему они понимали так много. Реформисты обвиняли меня в том, что я «неправильно переводил» речи наших гостей и этим возбуждал массы. Позже, на процессе в Турине, полицейский чин повторил это же обвинение. Реформисты и полиция были бы пожалуй в большом затруднении, если бы они пожелали объяснить, каким это образом во Флоренции на вокзале, еще до начала речей, так же как и в Трудовой камере в Милане, после точнейшего перевода самих надежных переводчиков, и по всем улицам и площадям Италии — повсюду мужчины и женщины, которые «не читают о политике», которым неведомы дипломатические тонкости, кричали единодушно от всей души: «Да здравствует Ленин! Да здравствует мир!» Эти пораженческие настроения, это яростное желание мира было повсюду, носилось в воздухе, целиком отвечало положению.

И правительство позволяло все это.

Вожжи были опущены. Полицейские, те самые полицейские, которые позже в Турине с упрямой злобностью выдвигали в обвинениях ложь за ложью, слушали наши речи и не препятствовали. Быть может кто-нибудь из них внутренне даже одобрял.

— Но оно сошло с ума, очевидно, ваше правительство? — спрашивал меня пораженный, даже встревоженный Гольденберг.

Нет, оно не сошло с ума: оно спекулировало. Спекулировало на уличных беспорядках, чтобы заставить союзников притти ему на помощь, в виду тяжелых условий, в которых ему приходилось выдерживать верность союзникам против «воли народа».

Оно спекулировало на этих беспорядках также и с целью убедить социалистов, особенно правых пацифистов, принять предложение правительства о совместном с ним сотрудничестве в «священном союзе защитников отечества». О, эти гитары, звучавшие тогда под окнами социалистической партии! Как они заливались на разные лады, стараясь убедить нас, что для итальянского пролетариата чрезвычайно полезно будет отдать своих лучших людей «священному делу» поддержки войны до победного конца и дальше. Такое усердное окружение рабочих масс со стороны так называемой демократической буржуазии велось в то время не только в Италии.

Во Франции и в Англии, где социал-демократы весьма усердно гнули спины во имя национальной необходимости, наблюдалась такая же фронтовая атака. Миссия Муте, Кашена [34] и прочих, посетивших Россию, имела точно такой характер, как и миссия Лабриолы, Лерда и Раймондо [35] — все они проповедывали продолжение «демократической» войны.

Россия, освободившаяся от царизма, должна была стать еще более ценным союзником воинственной социал-демократии в интересах западного империализма. Говорили даже, что русский народ сделал революцию для

того, чтобы освободиться от царя-германофила и довести войну до победного конца.

В надежде на это министерство Орландо готовилось разрешить выдачу паспортов в Стокгольм представителям итальянской социалистической партии.

Известно, какое значение пролетариат всего мира, измученный длительной войной, придавал этому конгрессу, который должен был заняться вопросом о мире, согласно предложению Советской России. В сущности русские после первой революции хотели сказать союзным правительствам: «Мы не желаем сепаратного мира, но вы поторопитесь заключить общий мир». Правительства Антанты, надеявшиеся теперь уже скоро на полную победу над окончательно обессилевшим врагом, несмотря на собственное истощение, не вняли голосу задыхающейся от непосильных тягот России. Восприняв революцию как демократический переворот в пользу «войны-освободительницы» против царя-германофила, они никак не могли понять, что именно революция диктовала русским пацифистские предложения на Стокгольмском конгрессе.

Положение Италии было несколько иное: она была совершенно истощена и не ожидала больше никакой помощи от союзников. Для нее Стокгольм открывал благоприятный выход.

Тот, кто прожил эти дни в Риме, вращаясь в политических кругах столицы, кто слыхал разговоры в коридорах Монтечиторио *, в кафе, на площадях, в железнодорожных и трамвайных вагонах, тот помнит это настроение скептицизма, обескураженности и без-

---

* Дворец, где помещается итальянский парламент.

надежности, которое охватило на все сто процентов нашу буржуазию и преданных патриотов.

Понятно поэтому, что тогдашнему министерству улыбалась поездка представителей итальянской социалистической партии в Стокгольм. Кроме того, правительство, верное своей системе окружения, надеялось путем хотя бы этой уступки социалистам, привлечь их к «священному союзу», что явилось бы немалым укреплением линии морального и политического сопротивления врагу.

Первым из двух заграничный паспорт получил автор этих строк. Об этом узнали. Националисты, группировавшиеся вокруг «Idea Nationale», три года тому назад призывавшие Италию к выступлению бок-о-бок с Германией, подняли вопль об измене Антанте. Парламентская фракция сделала запрос. Орландо, тогдашний премьер, отрицал намерение выдать паспорта социалистам. Я находился в ложе журналистов с заграничным паспортом в кармане, выслушал запрос националистов и принял к сведению опровержения премьера Италии.

Через несколько дней после этого заседания комиссар общественной безопасности Милана был смещен в наказание за выдачу мне заграничного паспорта. У всякого правительства всегда найдется свой козел отпущения, спасающий его положение. Без вмешательства воинствующих националистов правительство, стремясь использовать в своей игре всякую карту, разрешило бы нам уехать в Стокгольм, чтобы «вести заговоры» против родины.

Еще позже произошли уличные беспорядки в Турине, где благодаря нераспорядительности правящих

городом, недостаток продовольствия достиг скандальных размеров. Затем наступило Капоретто [36]...

Весною 1918 года, тридцатого мая, в пятницу, как сейчас помню, я в N-ый раз был арестован. Предлогом к аресту послужило мое выступление в Турине по случаю приезда представителей Советов. Моя речь, выслушанная тогда в полном спокойствии представителями закона и произнесенная на открытом собрании и с разрешения властей, теперь оказалась причиной туринских волнений и даже поражения при Капоретто, вызванного также туринскими беспорядками.

Константин Лаццари был за несколько дней до моего ареста также схвачен по обвинению в пораженчестве.

Конечно причина нашего ареста была другая. Демократическое правительство Орландо, убедившись в том, что нас нельзя взять лаской, и зная, что мы подготовляем партийный съезд, чтобы покончить с манией сотрудничества с правительством, обнаружившейся у некоторых из наших товарищей, решило нас изъять из обращения, обвинив Лаццари в пораженческой пропаганде, а меня в государственной измене.

Таким образом после звуков гитары под окном мы снова услыхали знакомый звук заржавелого ключа в тюремной двери...

Я привел эти случаи, три из многих в моей личной жизни, разделенные годами и разные по обстановке, чтобы показать, как исключительно легко попадает человек в тюрьму, особенно при демократическом режиме и изменчивых настроениях правящих особ.

Думаю, впрочем, что никто не будет отрицать этого.

III

Передняя

ПЕРЕСТУПИМ тюремный порог... мысленно, чтобы быть готовыми попасть туда и физически; для этого не потребуется особой храбрости.

Большая часть тех, кто писал об этих местах погребения заживо, были только «любителями». Некоторые пробыли сами в тюрьме, но они не имели возможности увидеть все, и потому их описания поневоле однобоки.

Туллио Мурри [37] например, несмотря на то, что просидел около двадцати лет, ничего не увидел в тюрьме кроме педерастии. Это слишком много и слишком мало. Филиппо Турати, да простит он мне сближение этих двух имен, ничего не чувствовал, кроме глубокой тоски, причиной которой было чудовищное угнетение его высокой индивидуальности. Для Горького тюрьма — место отдыха его бродяг. Достоевский использовал тюремную камеру для наблюдения над странными думами

своих патологических персонажей. Я же напротив хочу освободить тюрьму от собственной личности, хочу рассматривать ее как нечто, находящееся вне меня, что я должен узнать в ее полной объективной ценности, не разбирая, нравится ли или не нравится мне та или другая сторона ее жизни, в которой я невольно принимаю участие. Я не сочиняю роман, я не пишу художественного произведения. Это — руководство. Эта книга будет гидом для входящего в тюрьму или могущего войти, а вовсе не предметом литературного развлечения...

Итак мы вступаем...

*

Обычно в тюрьму входят в сопровождении двух ангелов-хранителей и входя не имеют возможности рассмотреть ни фасад ее, ни вход. Переступив порог, инстинктивным движением обычно оборачиваешься назад — бросить взгляд, иногда последний, на «свободу». Для входящего «свобода» — это обычно глухая площадь с убегающей вдаль улицей, лоточники, часовой, прохаживающийся взад и вперед, да несколько прохожих, которые останавливаются и с любопытством и жалостью оборачиваются на арестанта.

Тяжелая кованая дверь захлопывается за вами, прежде чем вы замечаете, что вошли уже в «Città dolente»*. Вы оказываетесь лицом к лицу со сторожем в сером с голубыми кантами, который открыл вам дверь и теперь запирает ее привычным усталым жестом и затем вешает на пояс тяжелый блестящий ключ. Рядом

---

* «Город скорбей». Данте «Божественная комедия». «Ад», песня 3.

с местом сторожа на стене висят списки служащих, входящих и уходящих, по которым сторож главного входа следит за движением тюремного персонала, точно учитывая тех, кто находится внутри, кто должен еще пройти и кто уйти. Только благодаря такому строгому учету этого персонала, а также и тому, что тюремщик знает в лицо всех служащих, становится возможным препятствовать побегам, которые однако все же случаются, несмотря на все эти предосторожности.

Тотчас же при входе особый запах сжимает ваше горло — вонь от тысячи вещей: от арестантского супа, смутно напоминающего казарму; от «второго», ни с чем не сравнимого по запаху; от прелой соломы мешков, которые нельзя назвать матрацами, и от «параши», которая отнюдь не ватерклозет. Кроме того пахнет плесенью, клопами, ножным потом, скверной помадой надзирателей, пудрой приходящих на свидание проституток, адвокатскими сигаретками и простонародными сигарами уборщиков.

Карабинеры вводят вас в канцелярию, обычно первую комнату направо по коридору. Здесь вас «сдают», т. е. передают вас тюрьме, получая взамен расписку, как если бы вы были почтовая посылка, пакет или что-нибудь в этом роде.

С вас снимают наручники, как принято называть изящные железные браслетки, которыми сжимают запястья преступников, или полагаемых таковыми, чтобы вручить их справедливому закону. Итальянские наручники отличаются собственным характерным видом от приспособлений этого же рода других стран, изобретенных для того, чтобы помешать побегу преступивших закон. Почти повсюду теперь применяются на-

ручники, сплетенные из козьей кожи, маленькие, тонкие, элегантные, почти невидимые.

Представитель закона ведет арестованного незаметно для окружающих, их можно принять за двух нежных приятелей, которые вместе прогуливаются. Если один вздумает улизнуть или сделает попытку к возмущению, другой дергает за веревочку, и запястье арестованного мигом возвращает его к действительности. Таким образом и полицейские гарантии соблюдены и нет излишне мрачного вида у арестованного.

Вместо этого итальянские «железа» — грубый, неэстетичный инструмент.

Представьте себе кусок стали, изогнутый примерно в форме буквы Е, между зубьями которой проходит планшетка, крепко завинчивающаяся, когда руки арестованного заключены внутрь оной буквы.

Карабинеры, которым поручено отвести арестованного и которые отвечают за его прибытие, прежде всего и вполне резонно озабочены тем, чтобы он не удрал. А потому не стесняясь завинчивают планшетку потуже, так что запястья арестованного, виновного или нет, вспухают и наливаются кровью. Случается иногда, когда арестованных несколько, что кроме наручников на каждом представители закона сковывают арестованных попарно и затем соединяют эти пары особой, более крепкой цепочкой, которая, проходя между наручниками первого, протягивается под рукою у каждого из последующих, так что все они оказываются как бы нанизанными, подобно птицам на вертеле.

Эффект подобного рода закрепления арестованных бесподобен и имеет еще то неоспоримое достоинство, что сразу дает представление о тюремных методах.

На одном и том же вертеле случается увидеть молодца, впервые попавшегося, рядом с закоренелым преступником; оборванного нищего вместе с буржуазным сынком; глубокого старика с неоперившимся юнцом... Публика, пред которой проходит подобная группа скованных людей, определяет их одним общим словом «воры».

Однажды мне пришлось в таком виде направиться в тюрьму Сант-Андреа в Генуе вдоль узких, извилистых, длинных переулков этого города. Женщины и дети глядели на нас с жалостью, смешанной со страхом, а мальчишки бежали следом и орали:

— Воры, воры!..

Нас было человек тридцать, между ними несколько уголовных, приговоренных к каторге, менявших местопребывание, и я, осужденный за «призыв к классовой ненависти». Эта прогулка по улицам «надменной» Генуи с железными браслетами на руках и в компании каторжников заставила меня с еще большим вниманием заняться обсуждением нашего прекрасного режима.

С той поры у меня составилась более ясная оценка права господствующих классов на защиту своих привилегий, а также и убеждение в том, что о средствах этой защиты они не имеют достаточного представления, ограничиваясь применением тех, которые им кажутся наиболее солидными, не заботясь об их формах.

Итак в канцелярии с вас снимают наручники, или лучше говоря, «железа». Пока старший карабинер или бригадир занимается этой освободительной функцией и вручением вашему спутнику бумаги, в которой тюрьма сообщает о «принятии» преступника, бросим взгляд на помещение, напоминающее до некоторой степени склад,

на который прибывают и отбывают товары какой-либо фирмы.

Склад достаточно грязный и загроможденный. Нечто вроде перегородки, высотою в метр, делит его на две части: передняя служит для публики, задняя для господ чиновников. В отделении для публики находятся только две грубые деревянные скамьи. В чиновничьем же стоят столы, покрытые черной клеенкой, на которых красуются: стеклянные чернильницы, картонные коробочки, содержащие песок для присыпки деловых бумаг, пюпитр, поддерживающий толстейшую книгу-ведомость входящих и исходящих, инструмент для измерения роста преступников и несколько табуреток.

Вдоль стены шкафы, на стенах несколько олеографий, рисунки и изделия из гипса или соломы, работы наиболее добродетельных заключенных.

Все это под смешанным покровом сырости и пыли. Серое, бесцветное.

При канцелярии обычно числится помощник начальника тюремщиков, один или два тюремщика, в зависимости от размера и значения тюрьмы и в качестве писцов несколько человек из наиболее грамотных заключенных, которые обыкновенно являются наиболее активными организационными работниками канцелярии. Они в арестантской одежде: летом полотняной, зимой грубого сукна, окрашенного в два цвета перемежающимися широкими полосами: цвета черного кофе и кофе с молоком.

— Как вас зовут?

Этот вопрос, быстро заданный вам чином, восседающим перед толстой книгой, отрывает вас от осмотра помещения.

— Отец? Мать? Родились в..? День? Год? Занятие? Были раньше приговорены? Арестованы какого числа?

По окончании этого краткого допроса вы переходите к измерителю, и чин записывает ваш рост.

У другого стола другой чин заявляет вам:

— Выньте все ваши ценные вещи: часы, бумажник, карандаш, деньги, ручку...

С чувством грусти вы отдаете последние ваши вещи и оглядываете окружающие вас враждебные лица, которые пронизывают вас взглядами, полными подозрения, в надежде найти хоть одно дружеское или хотя бы менее враждебное лицо. И вдруг замечаете, что один из писцов подмигивает вам и всячески высказывает знаки дружелюбия и покровительства... особенно если при осмотре вашего бумажника выясняется, что вы человек со средствами.

Он выразительно смотрит на вас, и на его лице вы читаете вопрос: «За что тебя арестовали? Что ты сделал?»

И вы только теперь замечаете, что никто из окружающих вас блюстителей закона, которые во имя государства с его установлениями и защиты общественного порядка включили вас в число преступников, не задал вам этого вопроса.

Заключаемый в предварительную тюрьму принимается ею без осведомления о том, за что собственно он попадает сюда. Позже, когда приговор окончательно санкционирован, заключенный становится номером, и как таковой будет переходить из одной тюрьмы в другую, у него будет свой формуляр, и сторожа будут знать, принадлежит ли он к числу генералов преступного мира, или же это случайно залетевшая

в тюрьму птица; вор ли он, или преступник «по страсти», или же извращенный насильник. Но все это, повторяю, значительно позже. При вашем же вступлении никто вас не спрашивает, как и за что вы попали сюда. Вы нечто вроде пакета, который регистрируется на складе в прибавление к стольким-то другим. И у того, кто вас получает, только одна забота — найти угол, куда можно было бы запихнуть вас, совершенно не считаясь с вами лично.

Для него вы — грязная тряпка, безразлично шелковая или ситцевая, которую пока надо свалить в кучу до обработки. Позже кто-то займется сортировкой этой кучи и определением качества материи. Но те, кто первыми во имя общества принимает вас сюда для того, чтобы отомстить обидчику за обиженного, эти не должны ничего знать о вас. Они обязаны третировать всех заключенных одинаковым образом: закон вступления в тюрьму равен для всех: для пьяного бродяги и для бунтующего идеалиста. Что могут знать о вас тюремщики, какого рода суждение могут они иметь о вашем деле и деле других? Они должны зарегистрировать товар. И только.

Случалось ли вам, читатель, видеть продавца кур, который выбирает и распределяет свой товар по курятникам? Одного за другим извлекает он двуногих пернатых из корзин, в которых они прибыли, за связанные лапы, приподымает их, рассматривает их жирные и тощие части, раздувая перья, особенно у хвоста, чтобы узнать нет ли беспокоящих животное паразитов, рассматривает пристально зрачок, ища симптомов какой-нибудь болезни, и после внимательного осмотра размещает их по разным частям своего склада, согласно

результатов обследования. Одних он помещает направо, других налево, тех в центре курятника, а этих выпускает во двор, применяя в этом деле проникновенного распределения особый критерий, богатый различными элементами оценки, в целях извлечения из этого животного материала наибольшей прибыли при наименьших затратах.

То, что проделывает торговец птицами со своим товаром, делает и овцевод со своими баранами и другие торговцы с иными товарами.

Даже в собачнике применяется подбор и отбор. И только заключенных запихивают без всякого разбора, как придется. Это — «смешанный товар»...

Однако не будем отвлекаться посторонними суждениями. Слышите приказание? Ваш страж повелевает вам выйти из канцелярии. Он ведет вас в соседнюю камеру, где исполняется следующая не менее важная процедура вашего вступления в тюрьму: личный обыск. Вы раздеваетесь донага, несмотря на адский холод и пронизывающую сырость этой камеры, и страж производит подробнейший осмотр всего вашего тела, не имеющий иных ограничений, кроме собственной стыдливости этого неграмотного сына земли.

Нет смысла протестовать против каких бы там ни было требований обыскивающего, это было бы совершенно бесполезно.

Наиболее интимные обследования вполне понятны, когда знаешь, что опытные уголовные, которыми главным образом и пополняются тюрьмы, умудряются, несмотря на самый тщательный обыск, проносить на себе предметы, служащие для времяпрепровождения или общения с внешним миром.

Помимо чисто индивидуальных, неистощимых на выдумки способов пронесения, существует целая система, своего рода промысел для иных уголовных. В недоступных обследованию полостях проносятся и тысячная ассигнация и крохотная пилка, и бумажка с условным шрифтом, и лезвие ножа. И как бы внимательно ни обследовали тюремщики заключенных, рецидивисты всегда изощряются в нахождении новых и новых способов, обманывая бдительность самого ловкого из них.

Эта борьба между проницательностью властей и утонченной ловкостью преступников длится с незапамятных времен, и нельзя сказать, чтобы власть всегда выходила победительницей из этого своеобразного состязания. Я даже думаю, что до сих пор последнее слово осталось за преступником.

После того как вас исследовали вдоль и поперек, тюремщик, выполнивший эту обязанность, передает вас другому, который проводит вас по незамеченному вами раньше коридору в камеру заключения.

— ...Шестой! Тридцать пять! На место!

Вы слышите эти странные выкрики, смысл которых вам темен, в то время когда вы направляетесь в недра тюрьмы. И вашим глазам представляется необычное зрелище, которое неизбежно поразит вас.

Короткий коридор, ведущий в канцелярские помещения, где вы только что побывали, заканчивается дверью, за которой коридор сразу расширяется, принимая вид зала некоего промышленного учреждения, молчаливо работающего. Вернее даже нечто среднее между фабрикой и монастырем или колледжем и фабрикой, с прибавлением чего-то мистического, нагоняющего жуть. В этом спокойствии, нарушаемом изредка прохождением

человека в полосатом костюме и в полотняных туфлях, который разносит то пищу, то какую-нибудь грубую посуду или иную рухлядь, вы чувствуете как бы облегчение от настороженной напряженности, испытываемой вами в канцелярии.

Первое впечатление, которое вы получаете от тюрьмы при входе в нее, от ее коридора и широкой круглой залы с расходящимися лучами внутренних коридоров, вовсе не плохое. Правда и порядок и чистота и спокойствие только внешнее, только поверхностное, но этого вполне достаточно для того, чтобы посетители тюрьмы — не узники, а осматривающие ее в качестве любителей — вынесли хорошее впечатление и писали в книгах и журналах с симпатией о тюрьме.

Журналисты и публицисты всякого рода, сделавшие краткий визит тюрьме в сопровождении самого директора, всегда выходят с весьма приятным ощущением и воспоминаниями и пишут похвалы тем, кто стоит во главе таких «гуманных и культурных» учреждений. Даже больше, ведут кампанию за то, чтобы тюрьма стала более тюрьмой, чтобы наказание стало более ощутительным, чем теперь, когда место заключения может служить чуть ли не дачным отдыхом. Конечно эти писаки совсем по-другому оценили бы тюрьму, если бы попали в нее не в качестве гостя, а постоянного жильца.

И действительно я знавал нескольких таких журналистов, которые были ярыми апологетами тюрьмы и затем вовсе не придерживались старого мнения, сменив звание журналиста на каторжника.

Конечно современные сторонники тюремных строгостей, достигшие высокой власти, не предлагали бы подобных реформ, если бы испробовали прелести тюрем-

ного режима, ибо всегда легко меняются мнения, когда чужое несчастье становится вдруг собственным.

Так и в вопросе о тюрьме жирные баловни судьбы имеют всегда мнение, отличное от мнения тощих неудачников, которое менялось, когда от жирных они спускались к тощим или наоборот. Так оно повсюду. Пока в тюрьмы и каторгу отправляли бунтовщиков, посягавших на священное право собственности, не было барина и хозяина, который не считал бы их самыми полезными учреждениями. Но когда революция превратила казематы Петропавловской крепости в приют царских министров и чиновной аристократии, тогда представители старого режима поняли, что каменное чудовище над Невою было позором.

Какая разница с мнением той поры, когда в Петропавловке сидели большевики!

...В круглом зале, куда мы прибыли, тюремщик издает повелительный возглас:

— Шестой! Тридцать пять! На место!

От этого зала лучами расходятся во все стороны коридоры. Обширный, высокий, во всю высоту здания, он служит местом наблюдения над всей тюрьмой и регулятором ее деятельности. Он имеет вид огромной львиной клетки в цирке.

...Расходящиеся лучами от центра к периферии коридоры длинны и высоки, как и зал. Вдоль этих коридоров, в три или четыре этажа расположены камеры заключенных. Таким образом только один тюремщик может следить из зала за всеми лучами коридоров одновременно, и для наблюдения над всеми камерами — примерно около трехсот числом по обеим сторонам коридора — вполне достаточно тоже одного тюремщика.

Это так называемая «панорамная система», новейшая, как и все, что начинается с «пан».

Преступление, заключенное в клетку, не пугает больше, и преступники в камерах безопасны, как звери в клетке. Они пожалуй даже более ручные. В сравнении с числом заключенных случаи возмущения чрезвычайно редки, и часто наиболее бунтующим элементом тюрьмы являются вовсе не те, кто пользовались этой репутацией на свободе. Многие ценности по-иному переоцениваются в тюрьме, и не одна узурпированная слава меркнет в ее стенах.

Командор А или сенатор Б вынуждены собственноручно подставлять свою миску безграмотному и грубому тюремщику, чтобы тот наполнил ее из общего котла похлебкой, и какая надменность, какая самоуверенность смиряются иногда пред желанием получить побольше «гущи» или «приправы»!

Среди прочих своих неоспоримых достоинств тюрьма обладает способностью сломать человеческую личность, что приносит, как мы увидим это позже, несомненную пользу обществу, претендующему на иерархии. На каторге отбор происходит на всех парах, современнее сказать на всех дизелях. Кто погнулся, тот будет сломлен и никогда больше не встанет; кто не гнется, сможет выдержать и иногда в свою очередь начать гнуть других. В этом отношении тюрьма — пробный камень, лаборатория для экспериментов и испытаний. Недаром отсюда вышли закаленными для власти некоторые революционеры анархо-синдикализма, ныне достигшие высших ступеней служебной иерархии.

И да послужит этот факт утешением и надеждой всем узникам, ибо если они не погнутся и не будут сломлены

тюрьмой, они смогут также стать министрами... если, однако, не восторжествует мнение его превосходительства министра хранителя государственной печати Рокко насчет восстановления смертной казни. Тогда — прости всякая надежда на министерскую карьеру!

— ...Шестой! Тридцать пять! На место!

Этот таинственный призыв обозначает, что тюремщик шестого луча должен устроить вновь прибывшего узника на место и именно в камеру тридцать пять. И вот вы снова переходите от одного тюремщика к другому, который принимает вас для водворения в вашем новом обиталище, где вы останетесь до тех пор, пока не увидите свободы.

Камера № 35 находится в первом этаже. Тюремщик, принявший вас на хранение, извлекает ключ, блестящий от долгого употребления, вставляет его в скважину замка. Поворот, сухой треск, подобный выстрелу из револьвера, который бьет вас прямо в сердце, и дверь открывается и затем быстро закрывается за вами. И вот вы уже внутри, не успев даже и заметить этого.

IV

В камере

АРЕСТОВАННЫЙ, оглушенный столькими переживаниями, растерянный и измученный, обычно замечает, что он заперт, что он в клетке, только несколько минут спустя после того, как тюремщик запер дверь его камеры.

Как птица, попавшая в клетку, рвется к утерянной свободе и бьется о стены, прижимаясь всем телом и распластанными крыльями к прутьям решетки, так и заключенный, когда захлопывается за ним дверь, прежде всего кидается к противоположной от двери стене, где слабо мерцает свет оконца.

Это оконце, называемое «волчья пасть», адское изобретение, придуманное со специальной целью дать заключенному точно отмеренную дозу воздуха и света, необходимую для поддержания жизни, и в то же время помешать ему видеть что-либо, кроме крохотного мирка его камеры.

Рассмотрите устройство щели для писем в почтовом ящике; до некоторой степени она даст вам идею устройства «волчьей пасти».

Окошечко пробуравлено в толще стены; изнутри оно имеет раму из тяжелого прочного дерева на четыре стекла, снаружи оно закрыто тяжелой гранитной плитой так, что остается только узкая его полоска наверху, открытая для воздуха и света.

Между рамой и гранитной плитой находится еще решотка из толстых железных прутьев. Возможность побега прежде всего упирается в необходимость раздобыть пилу, которая оказалась бы в состоянии распилить эти прутья...

Площадь этой решотки разделена прутьями на сорок квадратов — пять в высоту и восемь в ширину, размером каждый от десяти до двенадцати сантиметров. Такое равномерное чередование квадратиков напоминает шахматную доску, и поэтому между разными образными названиями тюрьмы ни одно так верно не определяет ее, как выражение «видеть солнце в шашках». И так обидно и унизительно видеть солнце, раздробленным на кусочки, подобно тому как разбита и самая свобода.

В этом выражении и грусть, и ирония, и горе, и насмешка.

В нем вся гнусность окружающей вас обстановки: луч солнца, падающий на вас сбоку, украдкой; глоток воздуха, едва проникающий к вам через решотку, воспоминание и сожаление о природе, о целом мире.

Когда на пространстве того маленького кусочка неба, которое вам дано видеть, вдали прошумит аэроплан или чирикнет воробей, вы на миг приближаетесь к жизни, от вас отнятой. А когда хмурится небо и шумит непо-

года, ваша камера темнеет, стены ее становятся липкими, пол скользким и вся она точно могила, где вы погребены заживо — вы и все ваши светлые мечты о свободе, все ваши надежды.

Сколько вздохов бьется об эти прутья, сколько посылается проклятий им! И какие планы чудесных побегов рождаются и умирают в этих стенах!

Но убежать отсюда не легко, чтобы не сказать невозможно. По крайней мере четыре раза в день проходят сторожа по камерам: один раз утром, другой вечером и два раза в течение ночи.

Входят двое в камеру, тогда как третий остается у входа, затем появляется помощник начальника тюрьмы в сопровождении арестанта с лесенкой. Лесенка приставляется к окну, один из сторожей подымается по ней и коротким железным молотком энергично бьет по прутьям решотки, издающим глухой резкий звук, который проникает в душу.

«Трин, трин, трин!»

Из камеры в камеру, по всем лучам коридоров, по всей тюрьме идет обход, и за ним следует стук молотка по железу; и кажется, что этот звук и грохот открываемых и закрываемых дверей, и звон ключей — все это пробуждает к жизни и зовет к деятельности в монотонной тишине тюрьмы.

«Трин, трин, тритититен, грин, трин, трин, трин!..» Сторожа проделывают с гордостью эти музыкальные упражнения похоронного характера, пробуждающие в заключенном целый мир сожалений, угрызений, отчаяния.

А сторожа стараются, кто крепче и звонче простучит по железной решотке.

Нередко в ответ на этот шум, звучащий и угрозой и вызовом, раздается из какой-нибудь камеры голос наиболее мятежного заключенного:

— А, чтоб ты сдох!

Это наиболее ласковое из пожеланий, которое может послать своему тюремщику узник.

...Камера прямоугольна и продолговата. В более короткой ее стене — дверь, напротив — окно. У одной из более длинных стен вделаны в стену железные нары, которые на ночь опускаются и на день подымаются. У другой стены точно так же вделана грубая доска, служащая столом, и рядом с ней пониже и поменьше другая, заменяющая стул. В двух противоположных углах, у окна и у двери вделаны в стену каменные полки, на которых расположены немногие предметы, составляющие необходимую для заключенного утварь: кувшин с водою, глиняная тарелка и такая же кружка, деревянная ложка, деревянная гребенка и щетка для платья. Эти предметы выдаются заключенному при его входе в тюрьму. Почти всегда они стары, выщерблены, грязны.

Существует немало арестантов, твердо убежденных в том, что «от грязи толстеют», и потому воздерживающихся от мытья своей посуды, передавая в наследство последующим жильцам камеры всю свою грязь.

Не всегда также заключенный получает полностью свое тюремное приданое. Чаще всего нехватает щетки и гребенки; правду сказать большинство арестантов и не прибегают к ним.

Сторож вручает заключенному также две простыни из грубого полосатого полотна, нечто вроде полотенца,

такого же жесткого и грубого, матрац, набитый соломой, соломенную же подушку и суконное шершавое одеяло. Белье должно было бы выдаваться чистым и целым, но оно представляет из себя грязные лохмотья в подозрительных пятнах и отвратительно пахнущие; а матрац, подушка и одеяло кроме того носят следы самых разнообразных паразитов.

Обычно в правом углу от двери, под каменной полкой, на которой стоит кувшин с водой, на полу открывается небольшая квадратная дыра. Дыра эта сообщается с коридором посредством двух окованных дверец — одной внутренней и другой внешней. Это уборная, сведенная до минимальных размеров и украшенная сосудом, очень далеким от севрских ваз. В «руководстве», которое должно быть точным и подробным, приходится упомянуть и этот предмет в числе других, омрачающих жизнь заключенного. Необходимо говорить и о нем, так как и в этой мелочи отражается гигиена и мораль тюрьмы. Человеческие экскременты, которые из сосуда через двери выносятся коридорами, отравляют воздух как камеры, так и коридоров, несмотря на то, что в последних имеются достаточно широкие окна для проветривания.

Уборщики, покончив с очисткой сосудов, переходят на работу снабжения провиантом. И по зловонным коридорам начинают разносить мешки с хлебом и котлы с похлебкой. Часто те самые уборщики, в тех же самых одеждах, в которых они производили очистку уборных, разносят заключенным их порции. Конечно никто из них не производит после первой операции тщательного омовения рук. Впрочем аппетит большинства заключенных от этого не страдает.

В некоторых тюрьмах — например в туринском судебном карцере — применяется более гигиеническое устройство уборных с герметически закрывающимся сиденьем и водяным сифоном. Но для развлечения и по слепой ненависти заключенные испортили все эти усовершенствования, прежде всего растащив резину с герметических покрышек. Они открыли, что из этой резины можно сделать великолепные шарики для игры и, нисколько не заботясь о последствиях, пустили ее в дело. В стране, где вандализм — явление обычное, заключенные в тюрьме лишь подражают тем, кто лишил их свободы.

Тут нечему удивляться. Удивительно наоборот то, что иные талантливые арестанты научились применять в качестве телефона эти приспособления, отнюдь не предназначенные служить слуховым рожком.

...Дверь камеры сделана из крепкого дуба, в разных направлениях укрепленного тяжелыми железными полосами. Она открывается на коридор. В некоторых камерах, где заключены наиболее важные преступники, кроме двери имеется еще и решотка, открывающаяся внутрь камеры. Назначение ее — служить преградой между арестантом и сторожем, давая последнему возможность общаться с первым без всякого риска.

В двери имеются два отверстия. Одно крохотное, которое служит сторожу для постоянного наблюдения над заключенными и чье назначение прекрасно выражено его названием «шпиончик». Время от времени вы слышите легонькое «тч», оборачиваетесь и видите в отверстии «шпиончика» любопытный глаз, наблюдающий вас.

Этот нескромный глаз раздражает вас несказанно. Зачем он нарушает могильную тишину вашей камеры,

где вы влачите дни печали и самоуглубления? Что ему нужно от вас? Что движет им: любопытство или какое-нибудь иное чувство? Когда живешь на воле, часто не замечаешь даже взгляда, направленного на тебя, но в тюрьме этот взгляд из-за кованой двери вызывает самые разнообразные переживания, и каждое «тч» колет сердце, как удар ножа.

Другое отверстие в двери значительно больше, около двадцати пяти квадратных сантиметров; оно снабжено дверцей, открывающейся из коридора. Через него подают заключенному еду, через него же ведутся разговоры. Иногда, в период сильной летней жары, и только по постановлению врача, администрация разрешает держать это окошечко открытым по несколько часов в день для проветривания камеры. Но это бывает чрезвычайно редко и в особо исключительных случаях.

В двери еще имеется и колокольчик, в виде крючка или пуговки, потянув за который вы можете вызвать сторожа. Так в теории; но на практике дело обстоит иначе. К пуговке или крючку прикреплена пружина, которая в коридоре приводит в движение вместе со звонком и флажок с указанием номера камеры, обитатель которой вызывает сторожа.

Обычно на движение флажка отвечает грубая ругань с пожеланием «поганой смерти» тому, кто осмелился нарушить покой сторожа. И поэтому я рекомендую тем заключенным, которым дорог их собственный покой, не нарушать такового у сторожей.

Лишь только тот заключенный, который обходится без внимания тюремщиков и умеет сам блюсти свои интересы, удостаивается внимательного отношения к себе с их стороны. Чем меньше вы стараетесь занять своей

особою сторожей, тем благодарнее они вам за это и — как следствие — внимательнее.

Кроме всего этого при двери имеется еще «рука». Это железный крюк длиною сантиметров в десять, благодаря которому можно держать дверь слегка приоткрытой.

В эту щель заключенный может просунуть свой нос и слышать все, что происходит в коридоре, а так как коридоры эти наподобие лучей сходятся в круглой зале, то все заключенные могут слышать и видеть, что происходит в этой зале, не видя однако друг друга.

Эта система дает возможность арестантам слушать обедню и прочие религиозные службы, совершающиеся в зале.

Отсюда священник может с удобством изрекать свои проповеди, а директор тюрьмы, если он любитель красноречия, произносить соответственные поучения своим подневольным воспитанникам.

...Обычно камера имеет в длину 3,80 *м*, в ширину 2 *м* и 3 *м* в высоту. Говорят, что гигиенисты и физиологи признали эту кубатуру вполне достаточной для существования преступников.

Некоторые из этих ученых, принимающие близко к сердцу страдания низших классов, добавляют, что на воле есть несчастные бедняки, которые живут в худших условиях.

Ничего нельзя возразить против этого утверждения, но следует отметить тот факт, что до сих пор экономия на кубатуре тюремных камер все-таки не увеличила жилплощади бедняков на воле.

Ясно, что наука, которая, как известно, всегда объективна (а если и уклоняется от конкретных фактов, то лишь для того, чтобы свободнее парить на высотах

чистой теории), что эта наука не приняла во внимание ни морозных зимних ночей, ни летней жгучей жары, ни тех самых хитроумно изобретенных отверстий в правом от двери углу камеры, о которых мы говорили выше и которые так скверно пахнут. Наука брезгливо затыкает нос и проходит мимо подобных запахов: ибо она — чистая наука.

Впрочем для зимних холодов в некоторых тюрьмах Италии имеется нечто вроде центрального отопления. Но в большинстве случаев дело ограничивается только системой, а отопления нет, так как тюремные поставщики полагают более выгодным класть деньги себе в карман, экономя на дровах и угле, чем в котлы отопления. Так что из отверстий примитивного калорифера поступают в камеру заключенного вместо тепла пыль и пауки. Сторожа в свою очередь дрожат в высоких холодных коридорах и спасаются теплом старомодных жаровень, в которых тлеет жалкий древесный уголь.

Что же касается летней жары, то тут уже никакого спасения нет. Заключенный от зимней стужи и холодной сырости ранней весны очень быстро переходит к удушливой жаре долгого итальянского лета. Напрасно он раскрывает окно, напрасно тянется пересохшим ртом к ненавистной «волчьей пасти», чтобы освежить свои легкие. Из щели, забранной железной раскаленной решеткой, струится прелый, жаркий, пыльный воздух, отраженный тоже раскаленной гранитной плитой, закрывающей окно снаружи. Напрасно просит он сторожа поднять «руку» в двери или оставить открытой дыру «шпиончика»: воздух коридоров не лучше, ибо воздух узникам полагается в размере ограниченном, по причинам дисциплинарного характера.

Инквизиция всегда имела свой смысл, и нет на свете такой жестокости, которая не была бы совершаема во имя высших интересов.

Поэтому с наступлением жары часто слышатся то из одной, то из другой камеры крики, звон разбитого окна или посуды, грохот нар о стену. За этим следуют раздирающие душу вопли, проклятия, угрозы и пожелания смерти...

Внезапно раскрывается чья-то дверь, тюремщики вопят и грозят в свою очередь, накидываются на бьющегося в припадке заключенного, затыкают ему рот, надевают смирительную рубашку и волокут по коридорам и лестницам вниз, в подвал, где расположены карцеры.

Когда все кончено, когда припадочный «на дне» тюрьмы один в темноте изливает свою ярость, сторож комментирует этот энергичный способ лечения рассуждением:

— Теперь на несколько дней он оставит меня в покое.

А в камерах вдоль по лучам коридоров коллеги бедняги ставят несколько иной диагноз:

— Еще один спятил!..

И случаев, когда заключенный «спятил», как выражаются вульгарно уголовные завсегдатаи, в тюрьме немало.

Особенно часто это происходит в одиночке, которая для многих служит как бы передней желтого дома.

Это однако не мешает некоторым представителям науки вроде Энрико Ферри утверждать, что тюрьма не должна быть лучше — на том основании, что «на воле» есть люди, живущие в еще худших условиях.

Значит не лучшее для тех и для этих, а худшее для всех. Но так как оные ученые полагают также, что гений и помешательство близки друг другу, то, исходя из того, что нередко заключенные в тюрьме попадают в желтый дом, можно вывести, что гений и преступление тоже родственны.

V

Одиночка

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ понятия преступления и наказания меняются в зависимости от времени и места. И то, что вчера еще казалось преступным и потому наказуемым, сегодня разрешается и даже одобряется. Так называемые «вечные законы» общественной морали меняются, как всякая человеческая вещь, и изменения эти находятся в прямой зависимости от развития способов производства. Недаром же человек от людоедства пришел к Лиге наций, которая по существу является тем же истреблением себе подобных, но только в более прогрессивной форме — так сказать покрытой лаком.

Некогда преступление, т. е. оскорбление обычаев и прав общества или индивидуума, рассматривалось как прямое следствие дьявольского наваждения, и потому наказание состояло в прямом возмещении той же мерою. «Око за око и зуб за зуб» было законом у примитивных

наших предков; и может быть поэтому это законоположение начинает опять завоевывать у нас право гражданства после «войны за цивилизацию».

В те времена тюрьмы не было, прекрасно обходились и без нее. Кто убивал, того убивали. Кто крал, тому отрубали руку. Суд был быстрый и законы просты, так что не требовалось ни кодексов, ни положений, ни канцелярий.

Провинившийся преступник рассматривался как одержимый дьяволом, и если его убивали, то делалось это не столько из чувства мести или в наказание, сколько с благой целью изгнания дьявола из его тела. Тогдашний законодатель прежде всего боролся с дьяволом, не заботясь о том, кто являлся так сказать гостиницей, в которой оный дьявол нашел себе приют, подменяя содержание содержимым.

Можно сказать, что подобного рода судебная справедливость, хотя и несправедливая, вытекала из главной ошибки признания виновным некоего Люцифера, по профессии бунтующего ангела.

Прародитель наш Адам был также несчастной жертвой судебной ошибки, происшедшей в земном раю. Все счастливые обитатели этой земли согрешили в данном случае, за исключением его одного. Согрешил змий, соблазнивший Еву; согрешила Ева, соблазнявшая Адама средствами, против которых не всегда можно устоять. И больше всех конечно согрешил сам бог-отец, который довел и одного и другую до соблазнения бедняги-прародителя.

И все же тяжелее всех был наказан Адам, присужденный в поте лица своего добывать хлеб, тогда как Еве было разрешено пойти дальше по той же дорожке

и добывать свой хлеб куда более легким и приятным способом.

Что же касается змия, то ему было назначено только пресмыкаться, что охотно делают многие люди, и из чего следует, что в земном раю змии летали наподобие летучих мышей или же продвигались берсальерским [38] шагом...

...Говорят, что от этой первой судебной ошибки произошли все прочие и что современные наши судьи, в тогах и шляпах, часто утешают себя мыслью о первом судье, памятуя, что он, «предвечный отец», был одновременно и подстрекателем, и преступником, и неумолимым судьей. Может быть поэтому он и был так суров при назначении кары, которая пала не только на соблазненных, но и на потомство их до скончания веков.

Всем известно, что ни один судья не бывает так строг, как тот, на чьей совести тяготеет грех, за который он должен наказать обвиняемого. Есть своего рода сладострастие в том, чтобы покарать в другом свою вину. Поэтому и произошло, что люди долгое время карали себе подобных, виновных в том, что они были одержимы дьяволом, возжигая в то же время фимиам богу, его создавшему.

Позже, когда смягчились нравы и народы стали менее варварами, применение наказания к жертве дьявольского подстрекательства стало уже неудобным, поэтому за преступником признали личность, менее подчиненную дьяволу и более близкую богу. Заявили также, что хотя без воли божией ни один волос не падет с головы у человека, однако есть свободная воля, благодаря которой он может выбирать между добром и

злом, для чего очевидно и было насаждено в раю земном прекрасное дерево. И хотя изгнание из рая последовало именно за то, что прародители наши пожелали научиться распознаванию зла и добра, человеческое общество, базируясь на этой способности своих индивидуумов, карает тех, кто не применяет в жизни оного дара и смешивает зло с добром.

С этих пор кара перестает быть жертвой богу и победой над дьяволом, а становится прямой местью общества нарушителю его прав и чувств.

Бог, выгнав из рая Адама и Еву, применил впервые наказание изгнанием из отечества. Это в общем — благородное наказание, которое применялось потом в Греции и Риме. Позже его ввел Мальви [39] во Франции и Франческо Ксаверио Нитти [40] (без суда) у нас в Италии. С годами кара тяжелела. Царь в России ссылал своих подданных в Сибирь, расположенную совсем не на жарких берегах Тигра и Ефрата. Но хотя голодали и зябли ссыльные, все же они могли наслаждаться воздухом, могли двигаться. А те, кто вместо ссылки в пределах отечества попадали за границу, дышали даже свободнее, чем в его пределах.

Но настало время, когда люди достойно оценили все прелести свободы физической, и тогда, желая отомстить нарушителю общественных установлений, они придумали кару заключением.

Однако вначале заключение было только средством изъятия человека из оскорбленной им среды и закрепления его в определенном углу, яме, башне и т. п. Лишь немногие преступники в чрезвычайно редких случаях подвергались тогда одиночному заключению, т. е. выделению не только из среды оскорбленных им

граждан, но и из среды себе подобных, преступивших общественные законы.

Обыкновенно преступников массами заключали в тюрьмы. И граф Уголино [41] был засажен в знаменитую башню, «которая для меня носит имя голода»* вместе с сыновьями и внуками. И даже в аду у предателя есть товарищ по несчастью, ибо даже для него поэт не счел нужным наказание изоляцией.

Каторжники тех времен за весьма редким исключением хотя и были закованы в цепи и даже прикованы к стене, все же жили вместе. Они могли созерцать вокруг себя лица более или менее человеческие, могли перекинуться словом любви или ненависти, могли обменяться взглядом, улыбкой, хотя бы даже проклятием. И хотя жизнь в общей камере имела конечно больше шипов, чем роз, и шипы были настоящие и преколючие, а розы скоропреходящие, все же это была еще жизнь. Больше было ненависти, чем любви, больше грусти, чем радости, в этой принудительной жизни существ, связанных печальнейшими узами преступления и наказания, но все-таки они существовали и чувствовали свое бытие.

И в этом существовании каторжников расцветали иногда хрупкие цветы привязанности и братской солидарности. Общее горе, общее страдание иногда порождают чувства отнюдь не низкие.

Мне самому пришлось однажды, когда изменен был уголовный кодекс о каторге и произошли в связи с этим всякие тюремные перемещения, видеть старых каторжников, десятки лет влачивших цепи на каторге в Ан-

---

* Данте — «Божественная комедия». «Ад», песня 33.

коне [42] и Чивитта [42], — плачущими, потому что их разлучили с товарищами по несчастью.

Даже по отношению к своим старым тюремщикам высказывали они привязанность в этом случае.

На морщинистых лицах этих преступников, ничем в сущности не отличавшихся от высоких сановников, их осудивших, я читал искреннее горе разлуки наряду с беспокойством от неожиданной перемены, страхом и надеждой на улучшение последних дней их загубленной жизни.

Общий труд, хотя бы и каторжный, совместная жизнь и разделенное страдание сохранили проблески человеческих чувств в этих существах, среди которых были убийцы и даже отцеубийцы.

Но наука и развитие демократии, объединившись вместе, улучшили и усовершенствовали тюрьму. У нас в Италии, конечно, либеральный демократ произвел реформу, введя принцип одиночного заключения. Этот принцип применяется для подследственного, а также в первом периоде наказания для приговоренных к заключению, причем период этот может длиться и двенадцать лет! Последующая реформа уложения о наказаниях, произведенная при министре-демократе Джузеппе Цапарделли, расширила пределы одиночной изоляции, порвав последнюю слабую нить жизни, оставленную узнику менее усовершенствованными системами более варварского периода, ибо одиночка приговаривает человека к длительному умиранию.

VI

Угрызения совести

МНЕ не удается ни читать, ни писать. Не могу сидеть спокойно, но не хочу и двигаться. Я пробовал ложиться на койку, чтобы заснуть, но ни на спине, ни на боку, ни ничком не могу даже задремать. И хуже всего то, что лишь только я возьмусь за книгу, как глаза мои начинают смыкаться, а когда я откладываю книгу и закрываю глаза в надежде на сон, глаза мои сами собой раскрываются.

Материалист сказал бы, что это от плохого пищеварения или от какой-либо иной физической причины. Кто-нибудь все из этих же ненасытных материалистических мозгов объяснил бы мое состояние нервным расстройством, обусловленным в свою очередь атмосферическими условиями этого сырого дня и бурным веянием сирокко *.

---

* Южный удушливый ветер в Италии.

Но я, будучи поклонником неоидеалистической доктрины, которой придерживается также и уважаемый королевский прокурор, я убежден, что мое невыносимое возбуждение происходит от моральных, духовного порядка причин. Без сомнения дело в так называемых угрызениях совести, старых угрызениях, которые, овладев однажды Адамом после грехопадения, всегда сопровождали и сопровождают преступника с момента совершения им преступления до конца искупления своего греха. Таким образом и мое волнение должно происходить от угрызений совести, и чтобы избавиться от него, следует произвести соответствующий глубокий серьезный экзамен совести.

Я должен исповедаться пред собой, как на духу, и (это пришло мне внезапно в голову) излить результаты моего обследования тому из чиновников, который изучает мое дело. Ясно, нет иного пути, чтобы приобрести утраченное спокойствие.

Прежде всего я должен заявить, что мое волнение началось с того момента, когда я прочел сообщение онореволе * Этторе Валентини (я его не знаю, но должно быть весьма бравый депутат) по вопросу о разрешении на судебное преследование, запрошенном у Камеры королевским прокурором Милана против обвиняемых вместе со мною депутатов Маффи, Ромита, Грациадеи [43] и других.

Онореволе Этторе Валентини был докладчиком, долженствовавшим сообщить и комментировать Камере единогласное постановление парламентской комиссии, не разрешившей оного судебного преследования. Это реше-

---

* Титул депутата итальянского парламента.

ние, подтвержденное Камерой, косвенно коснулось и меня, и так как обоснования его отнимали у обвинения всякий смысл, то и я, если бы правосудие не подменялось полицией, был бы освобожден за отсутствием состава преступления.

И вот тут-то и начинаются угрызения совести. Не успокоило, а лишь взволновало меня, господин королевский прокурор, и даже огорчило сообщение о возможном, почти даже решенном прекращении судебного преследования после трех месяцев предварительного заключения по такому серьезному обвинению, как «призыв к возмущению в целях государственного переворота путем вооруженного восстания для подчинения государства чужестранному правительству» — преступление, караемое годами и годами каторги.

Невозможно, чтобы тот, кто с таким старанием разработал мое обвинение — знаменитейший синьор квестор города Милана командор Пиньянари, — решился на такой важный шаг без всяких доказательств и исключительно по личному своему мнению, по «личной оценке», как заявил он на предварительном следствии. Ибо нельзя же по «личной оценке» или хотя бы подозрению засадить в каменный мешок человека, обвинив его в заговоре с целью предания своей родины иноземцам. Это слишком серьезное обвинение, которое должно рассматриваться с соответственной осторожностью, иначе, если так легко создаются столь крупные процессы, мы дойдем до потери уважения к величию отечества и непреложности закона...

Очевидно в памяти синьора квестора или в голове королевского прокурора произошла какая-то ошибка. Чрезмерная нагруженность умственной работой должно

быть ослабила их мозги, сделав их доступными подобным извращениям фактов.

Или я действительно виновен?..

Чтобы облегчить мою совесть, я должен сказать всю правду — и только правду, информировать судью и моих обвинителей, обнажить до самых глубин мою совесть, хотя бы за это я должен был сгнить в моей темной камере.

Итак, господа судьи, следите за моей исповедью и вы увидите, что меня следовало упечь и давным давно уже в Сан-Стефано или в Порто Лонгоне [44].

Я все дам: факты, свидетелей... все. Я начинаю.

...В 1893 году разрыв торгового договора нашего с Францией и союз с Германией и Австрией привели нашу страну, ведомую железной рукой Франческо Криспи, к вершинам ее славы. Французское правительство, как всегда, завидуя такому нашему величию, спровоцировало погромы итальянских рабочих в Эг Морт. Наши патриоты устроили по этому случаю ряд манифестаций с криками: «Долой Францию! Война Франции!»

И я выступил тогда против этих славных патриотов с лозунгом: «Да здравствует Франция! Да здравствует Интернационал!» И был арестован тогда же в Милане, ибо я продался Франции.

Несколькими месяцами позже разразилось движение сицилийских «фашиев». И Франческо Криспи открыл, что это движение ставит себе целью отделение Сицилии от Италии и передачу ее Англии.

Вожди «фашиев»: Баско, Никола Барбато, Джиакомо Монтальто, Бернардино Верро [45] были схвачены с поличным. Были замечены английские броненосцы, крейсировавшие вокруг острова, и в Бизаквино [46] был под-

писан (именно подписан уже) по всем правилам договор, передававший Сицилию, — всю от Мессины до Палермо — в руки англичан!

Никола Барбато и К⁰ были вполне справедливо приговорены к десяткам лет каторги. А я за то, что солидаризировался с ними, был арестован и тоже приговорен, ибо на этот раз я продался Англии.

*

Я просидел несколько лет в тюрьме, попал под надзор полиции, посидел снова в тюрьмах Тремити и Понца [47], потом был освобожден (в 1896 г.), снова арестован, снова освобожден (в 1897 г.) и, ознакомившись со всеми тюрьмами королевства, понял, что лучше пожалуй было пожить на свободе под покровительством тех правительств, которым я продался. Каким лордом я проживал во Франции, в Соединенных штатах, в Швейцарии, в Индии — могут засвидетельствовать вам, господин королевский прокурор, люди, в настоящее время находящиеся у кормила правления.

Из их уст вы услышите подтверждение моим словам и получите неопровержимые доказательства моей злостной антиитальянской деятельности, всегда обслуживавшей иностранные правительства. Я ссылаюсь на его превосходительство Бенито Муссолини, на генерала Асклепия Гандольфо, на ком *. Эдмондо Россони, на ком. Массимо Рокка, на ком. Арнальдо Муссолини, на ком. Джузеппе де Микилес [48] и т. д. и т. д. Все эти стопроцентные патриоты могут рассказать, как пышно жил я все эти двенадцать лет эмиграции на иностранные денежки.

---

* Командор — гражданский титул.

Спросите-ка их!

В Италию я вернулся в 1911 году.

Родина моя была тогда занята славной войной [49], целью которой было дать населению страны выход на земли богатые и плодоносные. В сущности это даже и не война была, а так... военная прогулка без больших затрат.

И я был тогда против этой войны, против своей родины, ибо тогда продался Турции.

Свидетелями этого были все итальянские националисты. Можете свериться, господин королевский прокурор, по «Gazzeta di Venezia», а также и по статьям неизменного «Gazzettino» той же Венеции.

*

Когда в 1914 году, в августе — сентябре разразилась мировая война, я был в числе тех, кто, собравшись в Милане, грозил правительству народным восстанием в случае, если Италия, согласно условиям Тройственного союза, вступит в войну на защиту интересов центральных империй, чего так хотели наиболее горячие наши патриоты: Соннино [50], Федерцони [51] и им подобные с «Idea Nazionale» и «Corriere della Sera» во главе.

Свидетели — кроме газет того времени, некоторые из нынешних правителей Италии, в том числе и его превосходительство председатель совета министров. Тогда я продался Франции. Второй раз!

Немного времени спустя восторжествовала идея «священного национального эгоизма». Италия явила миру величавый и светозарный пример мудрой и честной политики (как это ясно доказано в «Зеленой книге»), вступив в мировую войну вместе с Антантой против

своих союзников Германии и Австрии, для «защиты прав маленьких народностей».

Как раз в это время я руководил «Avanti» и в течение всей войны был беспощадным «пораженцем». Разве не читали вы, господин королевский прокурор, полемику тех дней, а также и последующих?

Все патриоты и их газеты в один голос вопили против меня. Опросите-ка их всех; все они скажут, что я тогда продался немцам.

И в 1918 году военный трибунал города Турина осудил меня условно как предателя, но «косвенного», очевидно второпях забыв все прочие вышеперечисленные преступления.

*

Не помню уже каким образом, но позже я продавался еще Коммерческому банку, справьтесь об этом у синьора Джиованни Прециози, особы солидной, писавшей об этом деле в своем солиднейшем журнале «La Vita Italiana».

И наконец я сделался, как справедливо отмечает донос квестуры, гражданином «итало-русским».

Это вместе с русской революцией.

Я был наименован даже почетным членом, хорошо не помню какой уж московской академии. Представьте себе!

И в этом моем звании московского академика и итало-русского гражданина я защищал самым неприличным образом русскую революцию против правительства моей страны и против почтенных патриотов, которые украшают ее своими делами и согревают неистощимой привязанностью. Если только вы поместите на страницах

«Corriere della Sera» соответствующее объявление, вы найдете сотни свидетелей, которые вам расскажут и докажут, когда и как я теперь продался России.

*

Подведем итоги, господин королевский прокурор.

Я наихудший из граждан. На протяжении всей моей политической жизни, с 1892 года и по нынешний день, я с дьявольской настойчивостью все время продавался: французам, англичанам, туркам, опять французам, немцам, дельцам Коммерческого банка (которые были почтеннейшими деятелями, пока оплачивали честную патриотическую печать) и, наконец — последнее и самое гнусное злодеяние — продался русским большевикам, ярму которых пытался подчинить священную почву родимой земли.

Синьор квестор города Милана по вполне извинительной рассеянности упустил все это из виду. Но я, чтобы облегчить свою совесть от мучащей меня тяжести, хочу сам напомнить вам все мои вины.

Как строгий, но справедливый судья вы не должны, господин королевский прокурор, поддаться впечатлению от постановления парламентской комиссии и комментарий ее докладчика онореволе Этторе Валентини. Ведите свою линию. Держитесь крепко, притяните меня к суду, заприте меня на годы и годы в тюрьму и особенно озаботьтесь тем, чтобы было секвестрировано мое движимое и недвижимое имущество. Не упустите ничего, блюдите интересы бюджета...

Теперь, когда я облегчил свою совесть, я могу спать спокойно. Доброй ночи, господин квестор!..

VII

В арестантском вагоне

Некий хроникер одной буржуазной газеты весьма расстроился, ознакомившись с тем, как и в каких условиях происходят свидания заключенных с родными. Он увидел коридор, который разделяет две стены с крохотными окошечками каждая, расположенными друг против друга и забранными решотками. За одной стеной располагаются узники, за другой их родные, перекликаясь через окошечки. Посредине коридора, между стен, прогуливается тюремный надзиратель, который вслушивается в разговоры и может в любую минуту прервать их, когда это ему покажется нужным.

Посетители, чтобы быть услышанными, должны напрягать все силы своих легких, а надзиратель без особого напряжения старается не пропустить ничего из поверяемого той или другой стороной...

Этот журналист вышел из тюрьмы с душой, «полной печали», но он видел только уголок, только одну подробность тюремной жизни и видел ее в качестве посетителя. Это не значит, чтобы я мог пожелать ему для более правильного понимания вещей просидеть в тюрьме этак с парочку месяцев... Упаси боже! Однако...

Есть у нас книга Туллио Мурри — «Галера», — задуманная и написанная в уединении тюремной камеры. Жизнь тюрьмы передана в ней такою, какою ее увидел и выстрадал автор. Эти страницы человеческого страдания следовало бы прочесть каждому, ибо тогда и тот, кто не был на каторге, узнает ее.

Узнает ее физические страдания и то моральное опустошение, которое она приносит с собой.

Узнает, как она вместо исправления виновного является школой наиболее утонченного порока и преступления, благодаря страшному смешению возрастов и проступков, благодаря вынужденной ненависти, благодаря неслыханному мучению карцера-одиночки!

Когда-то сумасшедших лечили смирительной рубашкой и палочными ударами; современная терапия прописывает бром и холодные души.

Полагаю, что этот рецепт может быть применен ко многим заключенным.

Но возвратимся к теме этой главы.

Мы в Болонье, в тюрьме Сан-Джиованни ин Монте. Семь часов вечера. Тюремщик вызывает меня:

— Возьмите все ваши вещи и идите во временную камеру.

Во «временной» камере нас собралось человек двадцать. Несколько человек освобождаются, остальные будут пересланы в другие места заключения: кто в виде

наказания, кто потому, что эта тюрьма перепо́лнена свыше меры, кто по соображениям процессуального характера. Как всегда — смешанная публика: молодые, старики и средних лет, кто в арестантской куртке, кто в своем платье, но все бритые, в полосатых шапочках, и поэтому кажутся одинаковыми на лицо.

Путешествие начинается уже с этой камеры. Уборки здесь не производится никакой, потому что это «временное» жилище; соломенные тюфяки покрыты корой грязи, стены тоже, с прибавлением насекомых.

Муки путешествия поэтому начинаются с этой камеры.

Утром часа в три нас будят и разносят хлеб — два круглых небольших хлебца, которых должно хватить на весь день. Затем идет перекличка. Из склада выдают наши вещи. Мы связываем их в узелок. Потом нам надевают наручники. Один из заключенных, у которого одна рука атрофирована, протестует:

— Я по причине моего физического недостатка всегда путешествовал без наручников.

— У нас нет на это заявления врача.

— Но вы не видите разве, что рука эта не действует?

После споров приходят к соглашению, наручники надеваются только на одну руку — здоровую. Покончив с руками каждого, продергивают объединительную цепь, нанизав нас, как дичь на вертел, и мы в специальном фургоне отправляемся на вокзал.

Тюремного вагона еще нет, мы должны ждать его около часа под навесом. Публика собирается вокруг нас, рассматривает, обменивается впечатлениями...

Наконец подают наш вагон. Его прицепливают между товарным вагоном и вагоном третьего класса. Нас снимают с вертела, оставляя наручники, и распределяют по камерам.

Тюремный вагон имеет свое, совершенно отличное от других вагонов устройство. В длину он разделен узким коридором на две части, из которых каждая в свою очередь разделена на ряд крохотных отделений в два метра высотою и меньше метра в ширину. Внутри такого отделения находится сиденье; когда арестант встает с него, оно автоматически подымается, как кресло в кино, и под ним оказывается стульчак уборной, — трогательная забота об удобствах перевозимого, а также и о его охране, ибо не убежишь из такой уборной.

Дверь этой вагонной камеры массивна и обита железом; на высоте человеческого роста в ней проделано окошечко-глазок для дежурного карабинера, который шагает вдоль коридора, разделяющего две шеренги камер. В особом отделении вагона помещается отряд стражи.

Втиснутый в подобную железную коробку, заключенный даже и мечтать не может о побеге, и все же наручники остаются на нем на все время переезда.

Поезд трогается. По дороге то на одной, то на другой станции мы сдаем несколько арестантов и принимаем новых. Уходящие прощаются с остающимися, вновь прибывающие приветствуют нас. Если карабинеры не очень суровы, удается иногда перекинуться словечком из окошечка глазка.

Поезд идет, то ускоряя, то замедляя шаг. Пыль проникает повсюду. Затекают и немеют члены, душно, воняет потом и человеческими испражнениями.

— Карабинер, я хочу пить!

Карабинер подходит к окошечку и просовывает в него узкое длинное горлышко фляжки.

Вода теплая, мутная...

— Карабинер, снимите наручники, я должен расстегнуть штаны!

На этот раз он входит внутрь, но наручников не снимает. Как заботливая нянька, он расстегивает и спускает вам штаны. Потом застегивает.

...Мы в Парме. Наш вагон отцеплен и переведен на запасной путь, где мы остаемся часа три.

Солнце высоко и жарит во-всю, раскаляя крышу вагона, нагревая все его металлические части. Мы задыхаемся, некоторым дурно. Пытка солнцем...

Наконец-то вагон движется, и становится не так душно, зато начинается другая пытка — пылью. Пыль забивается в нос, в глаза, в уши, в рот. Она покрывает тонкой вуалью все ваше неподвижное окоченевшее тело. Легкие отравлены миазмами.

Кровь стучит в висках, стянутые наручниками кисти рук пухнут и медленно мертвеют. Перестаешь различать время, ни о чем не думаешь и ждешь обморока как избавления.

...Наконец-то мы у цели.

Милан! На станции нас снова нанизывают на вертел и отвозят в Сан-Феделе, где размещают по камерам. И только здесь снимают наручники с наших распухших в кровоподтеках рук.

Наконец-то я растянулся на койке в отведенной мне камере с чувством, которое я испытал бы, получив свободу! Всю ночь я проспал мертвым сном, не замечая даже посещений тюремного контроля.

И это после одного только дня путешествия в тюремном вагоне. Но ведь бывают маршруты в несколько дней, бывают и в несколько недель, правда этапным порядком, с перерывами; но разве за несколько дней перерыва смогут отдохнуть измученные члены и пройти опухоли и кровоподтеки закованных в железо рук? И если даже за время более длительного, и все же мучительного во «временной» камере этапной тюрьмы, перерыва и опадут опухоли, то снова и снова повторение вагона и пытки жарой и пылью возобновят мучения с еще большей силой. Путь из Неаполя в Милан длится около месяца...

Далеко ли ушло итальянское правительство от средневековых истязаний?

VIII

Военная тюрьма

ГРАЖДАНИН, ставший солдатом, должен учитывать среди других мало приятных возможностей военной службы также и необходимость переступить когда-нибудь порог военной тюрьмы.

А посему мы и сочли полезным дополнить наше «руководство» специальной главой на эту тему.

В военную тюрьму, как и в гражданскую, очень легко попасть, но попадают в нее только солдаты, унтер-офицеры и иногда младшие офицерские чины; собственно для офицеров существуют особые места заключения. В отличие от гражданских тюрем военная квалифицирует своих обитателей, ибо в понятии военного полезно соблюдать известную дистанцию даже и в местах наказания.

Жизнь военной тюрьмы кой-чем отличается от жизни прочих тюрем. Только в трех вещах — в грязи, в не-

достатке пищи и в тюремной дисциплине — остается единство, во всем же остальном, как мы увидим позже, имеется существенная разница.

В военных тюрьмах заключенный, помимо прочих общих всем узникам лишений, вынужден жить в бездействии, наиболее развращающем, и к тому же не имеет возможности читать. Кара, назначаемая ему, имеет характер наказания не только м о р а л ь н о г о, если под моральным понимать лишение свободы, а не стыд наказания, но также — и больше всего — физического, главным образом, голода в самом прямом и точном смысле этого слова. Гигиенические условия заключенных в военных тюрьмах еще хуже, насколько это возможно, условий гражданских тюрем. Никакое перо не в состоянии передать ужас этого положения, и потому мы просто р а с с к а ж е м о том, что есть, не пытаясь н а р и с о в а т ь его художественную картину.

*

В настоящее время, насколько мы знаем, существуют в Италии две военных тюрьмы: одна в Гаста — главная — и другая в Сант-Эльмо (Неаполь). Во время мировой войны правительство, в виду чрезвычайного количества военных преступлений, приспособило для целей заключения еще старые внутренние крепости. И в очень короткий срок крепости Савоны, Бард, Беано, Ратти, Пиццичетоне были переполнены, несмотря на то что и Гаста и Сант-Эльмо и Удине и Поджио Реале тоже не пустовали.

Пришлось устроить кроме того специальные концентрационные лагери, неподалеку от тюрем, которые заполнялись с необычайной быстротой.

На фронте в эти годы приговоры сыпались, как из мешка, часто без соблюдения необходимых процессуальных формальностей.

По-настоящему судебное разбирательство имело место только по отношению к тем военным, кто по содеянному преступлению заслуживал расстрела в спину. Остальные разбирательства велись на всех парах, случалось, что в один только день трибунал закатывал в общей совокупности до двухсот лет заключения.

Были и такие трибуналы, которые «специализировались» на смертных приговорах. В Ривольто (возле Удине) и в Прадамано в 1917 году почти каждую ночь можно было услышать треск ружейных залпов за стеной кладбища. Это расстреливали по приговорам местных военных трибуналов. Солдаты весьма удачно прозвали их «отрядом рыцарей смерти».

Приговоры же к пожизненному заключению так и сыпались; еще и теперь по истечении десяти лет можно найти в военных тюрьмах несчастных, иногда виновных только в том, что они оставили свой пост для свидания с умирающей матерью. Однажды в Савоне нам пришлось познакомиться с одним стариком, отцом семерых детей, который, не получив разрешения на отпуск, дезертировал, чтобы повидаться с умирающим сыном. Он был схвачен и приговорен к двадцати годам заключения. Этот сильный сорокалетний мужчина чуть с ума не сошел от отчаяния. В тюрьме он отличался неукротимым характером, за что постоянно подвергался всевозможным наказаниям.

Для военного заключенного еще и потому особенно тяжело переносить свое наказание, что в сравнении с уголовными преступниками его вина относительно не-

велика. Обычно это непослушание, нарушение дисциплины, дезертирство, часто по такой понятной причине, иногда ранение. Выносить наказание, равное тому, которому государство подвергает убийцу, вора, растлителя, за небольшой по существу проступок, особенно горько и непереносимо.

Кто не испытал этого, тот с трудом может представить себе глубокое чувство возмущения подобным судебным неравенством в наказании столь различных преступлений. Это неравенство почти такое же по существу, как и трактование политических заключенных наравне с уголовными преступниками.

*

Обычно военные тюрьмы устроены в старых крепостях. Заключенные, разделенные на секции по числу дворов, спят в огромных помещениях, бывших складах артиллерийских снарядов, по двести и более человек. Специальной одежды арестантов они не носят, а одевают так называемый «рабочий» костюм своего полка.

Правительство, кроме одежды и пищи, которая должна была бы выдаваться по регламенту, кроме утреннего кофе, два раза в день, заботится также и о смене постельного и носильного белья. Днем, от утренней зари и до вечерней, заключенные пребывают в маленьком дворике под большой охраной. Письма, конечно просматриваемые специальной цензурой, можно получать хоть каждый день, но писать заключенный может не чаще одного письма в две недели. Посылки, получаемые заключенными, не должны содержать «слишком много продуктов».

В крепости имеется свой госпиталь и специальный карцер для особо провинившихся.

В таких крепостях могут быть размещены свыше 1 500 заключенных. Охраняются они специально подобранным персоналом: солдаты и унтер-офицеры под высшим командованием. Случаи возмущений чрезвычайно редки.

И здесь, как и в гражданских тюрьмах, по первому взгляду ничто не подтверждает ненависти и отвращения, которые военная тюрьма вызывает у заключенных. Высшие чины, получая рапорты, обработанные кем-нибудь из подчиненных совместно с директором, могут составить себе представление вполне благоприятное, даже находить, что следовало бы «подтянуть».

Еще хуже дело с инспекцией. Обычно о такого рода посещениях сообщается по крайней мере за месяц, время вполне достаточное для «подготовки». И как забавно бывает наблюдать такие посещения с обязательной пробой арестантского супа на кухне и неизменной похвалой эконому, который будет тащить в свой карман с еще большим усердием после одобрения начальства...

Но будем рассказывать по порядку.

Из трибунала, по прочтении приговора, или из гражданского места заключения, где он находился временно, новый жилец военной тюрьмы, в большинстве случаев после длительного путешествия, совершонного в знаменитом арестантском вагоне, прибывает к месту своего назначения.

Он измучен путешествием, кисти рук его истерзаны железными наручниками; растерянный, пораженный своим наказанием, он уже успел вкусить прелести

своей новой жизни. Обычно его сопровождают карабинеры, а найти человечного карабинера весьма нелегко, поэтому и голод и жажда терзают подневольного путешественника, ибо главная забота его ангелов-хранителей состоит в том, чтобы порученный им преступник не убежал. С окончанием путешествия, иногда длящегося три — четыре дня и более, пытка голодом не прекращается. Вновь прибывшему объявляют, что он на первые сутки остается без еды потому, что прибытие его еще «не вошло в силу» и поэтому на его долю нет пайка, который может быть назначен только на следующий день.

Цели этого насильственного поста, диктуемого соображениями административного характера, мы никогда не могли понять. Старые арестанты приписывают его желанию начальства «очистить» подобной диэтой вновь-прибывшего. Мы же полагаем, что причина здесь кроется в намерении подготовить его к пище, сделать ее более желанной и потому более аппетитной. Может статься, что новичок требователен в этой области, и кто знает, каким ему покажется крепостной паек. Голод окажется наилучшей приправой, а когда он проглотит первый обед, остальные пройдут уже легче.

Вновь прибывший прежде всего подвергается тщательнейшему личному осмотру, причем арестант должен подымать по несколько раз то одну, то другую ногу, чтобы доказать, что ничего не спрятано им в мягких частях. После этой процедуры он сдает все свое личное имущество и, перейдя нагишом в депо, получает арестантское приданое, которое должен будет возвратить при выходе. Приданое это состоит из полотняного костюма, двух рубах, двух пар подштанников,

двух пар портянок, шапки, пары башмаков, шерстяной фуфайки, двух простынь и двух одеял вместе с мешком для хранения всего этого имущества, за пропажу которого, будь то хотя бы самая незначительная портянка, заключенный наказывается несколькими днями карцера.

За депо следует канцелярия, где после осмотра сопроводительных документов новичка направляют в соответственный отдел с указанием его секции.

Каждый отдел подразделяется на две и более секции. Каждая секция занимает свою камеру или галлерею, вмещающую до ста пятидесяти нар. В углу такой камеры, отравляя воздух, помещается обычно огромных размеров параша, обслуживающая все сто пятьдесят человек. Легко себе представить, каким воздухом дышат эти сто пятьдесят несчастных.

Дверь камеры двойная, «шпиончик» выходит в маленькую комнатушку, в которой проводит ночь отряд стражи, надзирающий за этим мрачным логовом, полным грязи и смрада.

После вечерней зори, летом в 8 часов вечера, а зимой в 7, малейший шум в камере строго наказывается. Часто, лежа на своей наре, мучится заключенный без сна, не смея шелохнуться. Утром при обходе и перекличке то тот, то другой из заключенных направляются в карцер. За что? Ночью кто-то из стражи услыхал шорох, шопот или заметил огонек папиросы. Он не знает, кто именно, но кара нужна, и кто-нибудь, чаще всего невиновный, спускается на восемь, на десять дней в гнусную дыру карцера. Часто наказанный знает истинного виновника, но никогда не выдает его, иначе жизнь его превратилась бы в ад.

После утренней зори, летом в пять и зимой в шесть часов, заключенным раздается кофе — полчашки темной воды, которою некоторые из них чистят башмаки за неимением ваксы, отчего башмаки современем приобретают коричневый вместо черного цвет. Некоторые полощут себе этой жидкостью горло и лишь немногие пьют его и даже выменивают на окурок порцию других, более брезгливых товарищей.

После кофе заключенные строятся и выходят во двор (каждый отдел имеет свой, отделенный от других), где и проводят время во всякую погоду до вечерней зори. Идет ли дождь, печет ли солнце, бушует ли буря, град, снег — заключенные толпятся во дворе, жмутся друг к другу то спиною, то боком, прыгают, как одержимые пляской св. Витта, чтобы согреться, но не смеют войти в здание.

И смешно и больно наблюдать в ненастье эти группы прыгающих и жмущихся друг к другу столь разных людей.

Во дворе есть насос, под которым желающие могут обмывать себе лицо. По нашим наблюдениям не более половины делают это регулярно. Зубная щетка почему-то строжайше воспрещается. Зато курить здесь не запрещается, даже выставляется некая коптилка с фитилем из пакли для пользования курящих. Разрешается также покупать за свой счет продукты питания под контролем надзирателя и не свыше определенной суммы. Во время войны предельной цифрой было сорок чентезимов, теперь она поднята до лиры с половиной *. Денег однако заключенный при себе не

---

* Лира (100 чентезимов) равна нашим 10 копейкам.

может держать, ибо деньгами можно, кроме всего прочего, подкупить стражу; они сдаются в крепостную кассу. Заключенные покупают по преимуществу вино, табак, сухие каштаны, яблоки, помидоры, винные ягоды. Хлеб редко можно купить, продавцы не любят этого товара, как мало прибыльного. Покупки чрезвычайно развлекают заключенных. Право покупки является часто предметом тайный азартной игры в шашки или морру [52]; выигравший имеет возможность сделать двойные закупки. И ни в каком фешенебельном казино, где ставки исчисляются сотнями тысяч лир, вы не увидите такого страстного внимания окружающих игорный стол, как в укромном углу крепостного двора, где ставкой является право покупки горсти сухих каштанов или пачки табаку.

Одним из наиболее тяжелых лишений является отсутствие газеты и книги.

Всякое чтение запрещено, кроме (во время войны) победных бюллетеней генерала Кадорна [53]. Изредка переходит украдкой с рук на руки затасканный томик приключенческого романа.

Другое тоже очень чувствительное страдание заключенных — это постоянное чувство голода. За исключением больших праздников, когда и передача с воли и крепостной паек исключительно обильны, ни один из заключенных ни разу не ложится спать сытым, несмотря на покупки, делаемые на собственные средства. Сколько раз приходилось нам слышать ночью тяжелый и жалкий бред грезящего во сне арестанта: «хлеб, хлеб, хлеб...» и всхлипывания несчастного, который не в состоянии заснуть от раздирающего его внутренности голода. Иногда надзиратель после обеда, в целях соб-

ственного развлечения, кидает заключенным кусок хлеба. И тогда масса в сто с лишним человек накидывается на этот хлеб и дерется за его обладание с куда большим ожесточением, чем голуби на площади св. Марка в Венеции, которых кормят прохожие. За кусок хлеба, за лишнюю ложку похлебки заключенный готов на все, вплоть до кражи у собственного же товарища. А это много значит, ибо товарищество в этой среде высоко развито.

Хлеб, драгоценный хлеб раздается незадолго до обеда и в строго, очень строго размеренном количестве, не свыше 400 грамм на человека.

Эта порция целого дня немедленно же исчезает в вечно пустых желудках. Очень редко, чрезвычайно редко кто-нибудь оставляет свой хлеб до обеда. Тогда он прячет драгоценный кусок на груди под плотно застегнутой рубахой и курткой. Это единственно верный способ уберечь его от аппетита окружающих.

Обед, раздаваемый в обычных солдатских манерках, состоит из куска мяса и литра супа; ужин из полулитра рисовой или макаронной похлебки. Суп обычно холодный, так как подолгу остывает в котлах. Распределение происходит следующим весьма интересным способом. Заключенные строятся по секциям перед манерками, в свою очередь вытянутыми в линию на земле, и пока надзиратели проверяют число манерок, каждый из заключенных жадно созерцает свою манерку, так как каждая из них как-нибудь отмечена своим обладателем: кто обвязал ее тесьмой от подштанников, кто вогнул край, кто сплющил бока.

По свистку начальства строй нарушается, и все эти голодные люди набрасываются каждый на свою ма-

нерку, и только присутствуя при этой сцене, можно представить себе всю силу обуревающего их голода. Случается при этом, что кто-нибудь в суматохе опрокидывает манерку и пища оказывается на земле; если это мясо, оно поедается с равным аппетитом, но как велико горе, если это суп!

Бывает также, что повар, заполняя манерки, по рассеянности перельет в какую-нибудь из них лишнюю ложку супа или положит кусок мяса побольше. Тогда забываются все отметины, и не одна пара чужих рук постарается овладеть более полным сосудом. Если собственник похищенной манерки разыщет товарища, похитившего его порцию, и пожалуется на него начальству, виновный получает карцер не меньше десяти дней. Рапорт дежурного капрала в этот день содержит традиционную формулу: «Наказан карцером такой-то. Причина: съел порцию своего товарища»!

Обед съедается с такой же быстротой, как и хлеб, посуда моется тут же холодной водой из фонтана, более чистоплотные трут ее еще землей. Ложки полагаются деревянные, и первое время новичок прикасается к ним с большой осторожностью, помня о тысячах ртов, с которыми они соприкасались. Позже, попривыкнув, он старательно вылизывает свою ложку и внимательно изучает надписи и рисунки, часто не лишенные вкуса, которыми праздные артисты украшают ее.

С полудня и до четырех часов, когда раздают ужин, заключенные томятся в поисках какого-либо занятия. Один лепит из мякиша (страдание от вынужденного безделья превышает настолько голод, что иные жертвуют частью еды) всевозможные поделки: папи-

росницы, табакерки для нюхательного табака, статуэтки, цветы. Другие играют в шахматы, в шашки или (в холодные дни) бегают взапуски, стараясь согреться. Иные мрачно бродят по двору или тоскливо толпятся у ворот, в ожидании почты, покупок, вызова по наряду. Некоторые моют белье у фонтана, так как начальство мало заботится об этом: простыни например меняют три раза в год. Нательное белье меняется каждые пятнадцать дней, и при перемене вы получаете часто не то, которое носили раньше, а неизвестно чье, что не может не вызывать гадливости. Лучше всего в таких случаях мыть самому белье у фонтана, но покупка мыла является героическим актом для голодных людей. Кроме того ходьба за бельем к главному входу два раза в месяц сама по себе приятное развлечение для заключенных. Охотников итти всегда много: для того чтобы получить мешок с бельем, надо пройти по другим секциям и быть может повидаться с каким-нибудь приятелем, затем увидеть прачку, что чрезвычайно приятно, хотя обычно крепостная прачка и похожа на ведьму, но это ничего не значит, все-таки это существо другого пола.

И очень обидно, что за бельем разрешается ходить только четырем; делается это по очереди, так что увидеть прачку случается чрезвычайно редко, учитывая количество заключенных — 150 человек.

Приход почты и раздача писем — торжественное и волнующее событие. Конечно все письма вскрыты и просмотрены. Цензура строга и своеобразна: заключенный например не может получать иллюстрированных открыток с изображением пары, обменивающейся поцелуем, или женщины мало-мальски соблазнительного

вида. Читатель легко поймет причины этого запрещения.

Писать, как мы уже говорили выше, заключенный может раз в две недели; бумагу и конверт — зарегистрированные — он получает из канцелярии крепости, где написанное письмо сначала просматривается и затем запечатывается, марка же оплачивается из сумм заключенного, так что те, кто не имеет этих сумм, лишены переписки.

Заключенные однако изощряются в способах обмануть крепостную цензуру — или путем передачи вольного письма, или употребляя «невидимые» чернила, вроде лимонного сока, при помощи которого устанавливают со своими корреспондентами условный язык, которым пользуются уже и в цензурируемых письмах. Так у нас например фраза «живу хорошо» обозначала «я голоден», а «не беспокойтесь обо мне» читалось: «пришлите мне денег». По правилам писать о недостатках или просить о присылке денег нельзя.

Прекрасный способ переписки без начальства наблюдали мы в Савоне. Крепость этого города расположена над городом, и та часть ее, где находятся дворы, выходит на дорогу, которая ведет к железнодорожным мастерским города.

Заключенные выбрасывали, улучив удобный момент, на эту дорогу свои письма, которые они умудрялись писать на внутренней стороне конверта или клочке обертки от покупок, — и эти письма подбирались рабочими мастерских, которые товарищески снабжали их марками и отправляли по назначению. Понятно, что в ответе на такое письмо не бывало никогда упоминания о получении его незаконным способом.

*

Военная тюрьма — самое бесчеловечное из всех существующих учреждений этого рода. Первое, что в ней устраивается, — это карцер. С точки зрения правительственного правосудия карцер является самым действительным средством для поддержания дисциплины среди заключенных, и поэтому применяется он с исключительным усердием. За малейшее нарушение правил — карцер: пять, десять, пятнадцать дней.

Обычно карцер помещается в подвале, размер его крохотный, еле позволяющий человеку двигаться; сырость, темнота. Для спанья в нем устраивается покатая доска, чуть приподнятая над землей; в изголовьи ее прибита поперечная дощечка, заменяющая подушку. У противоположного конца доски устроено особое приспособление, при помощи которого можно закрепить в полной неподвижности ноги наказанного в случае недостаточного смирения, обнаруживаемого им в карцере. Иной раз достаточно громогласного зевка для того, чтобы получить браслеты на ноги и руки. Наказанный карцером не получает пайка; для поддержания жизни ему выдается на день хлеб, весом не свыше 500 грамм.

К мукам голода (представьте себе 15 дней хлебного режима!) прибавляется еще и холод, единственной защитой от которого является одеяло, рваное, грязное, полное вшей и клопов.

Весьма часто заключенный по отбытии наказания должен еще «пройти через святого Антония», прежде чем возвращается в свою секцию. «Святой Антоний» официально запрещен, но до сих пор держится в обы-

чаях тюрьмы. Это — избиение заключенного, которое, для того чтобы не оставалось знаков на теле избиваемого, производится особыми узкими и длинными на манер палок мешками, наполненными песком. При избиении заключенного связывают по рукам и ногам, как сосиску, голову же закутывают одеялом, чтобы вопли несчастной жертвы не доходили до остальных заключенных. Бьют до потери сознания и затем оставляют одного — приходить в себя. Существуют артисты подобного рода развлечений. В той же вышеупомянутой крепости Савоны был сержант, начальник карцеров, — человек исключительной жестокости. Казалось, он изучал постоянно все новые и новые способы истязания своих жертв и был неистощим в их изобретении. Да и не в одной только Савоне.

Вспоминается нам один весьма поучительный эпизод из жизни военной тюрьмы в Беано. Нас было около пятнадцати человек, сжатых в помещении, раньше служившем для пушки. Орудие было заменено толстым стволом дерева в форме калибра 149, замаскированным досками, окрашенными в стальной цвет. Маскарад был проделан довольно удачно, и нам оставалось благодарить судьбу за то, что прельщенный им вражеский аэроплан не скинул на нас ни одной бомбы. Здесь, как и во всех прочих местах заключения, было строго воспрещено переписываться вне определенных дней. Однажды письмо, направленное нашему адвокату, которого мы благодарили за его защиту, попало в руки, для которых оно вовсе не предназначалось, и нам пришлось испробовать прелести местного карцера. Размеры этого карцера не превышали обычных размеров поездных уборных, а потому, за неимением места, в

нем не было даже обычной доски, заменявшей нары, не было даже охапки соломы для спанья. Пол и стены каменные, холодные были буквально мокры от сырости. Окна не имелось, и круглая дыра в 25 сантиметров в диаметре, просверленная в железной двери, не пропускала достаточного количества воздуха. Вероятно поэтому, чтобы наказанный не задохся, его выпускают на часовую прогулку. Нам пришлось провести здесь восемь дней. Ни одной ночи нельзя было не только лечь спать, но даже дремать иначе, чем на корточках, по причине мокрого пола было невозможно. Через три дня мы затребовали врача, в надежде добиться хотя бы соломы. Сей почтенный муж признал условия «вредными для здоровья», но присовокупил к этому, что он не может нарушать приказания коменданта. Нам пришлось отказаться от всякой надежды на улучшение.

*

Вечером, за час до вечерней зори, заключенные, выстроенные в линию, подвергаются обыску. Надзиратели должны следить за тем, чтобы арестанты не проносили с собой в помещение запрещенные предметы: окурки, газеты, спички, деньги и т. п.

Обыск даже и после многих месяцев заключения всегда неприятная операция.

Заключенных по очереди вызывают из рядов; вызванный становится во фронт, отдает честь, подымает вверх руки и остается в этом положении все время, пока его обыскивают. Случается, что у него обнаруживают что-либо компрометирующее, тогда его прямо со двора отправляют в карцер. Некоторые из заключенных подвергаются более тщательному обыску: они разде-

ваются догола, и их одежда исследуется от воротника до подошв башмаков. Это проделывается с теми, кто уже попадался раньше; но если в числе заключенных имеется человек с каким-нибудь физическим недостатком, надзиратели обязательно заставят раздеться и его, чтобы полюбоваться на несчастного в адамовом костюме.

По окончании обыска во дворе, во время которого производится осмотр нар в помещении, заключенные, сохраняя строй, проходят в свои камеры, где каждый торопится раздеться и лечь, так как после вечерней зори воспрещено малейшее движение. Когда все легли, начальник секции обходит ряды нар и «считает». По причине ли своего невежества или по чему-либо другому, но число лежащих никогда сразу не совпадает с количеством числящихся в списках секции. Начальство считает, пересчитывает, волнуется... Иногда поднимает тревогу. Раздается резкий свисток, два, три; и в одно мгновение камера окружается вооруженными нарядами, электрический свет заливает все ее углы, производится персональная перекличка и числа, наконец, сходятся.

Раздаются новые свистки разных интервалов, что значит «опасность миновала»; — свет гаснет, и камера принимает обычный вид.

*

В военных тюрьмах, как и везде, где живут люди разных классов и характеров, попадаются люди чрезвычайно своеобразные. В Анконе особенно выделялись трое.

Один из них был родом из Тосканы, высокий крепкий парень лет тридцати, приговоренный к девяти годам

за дезертирство. Он симулировал сумасшествие и делал это так ловко, что чуть было не добился освобождения. Никакие ухищрения начальства не могли его сбить, он настойчиво вел свою роль, не останавливаясь даже пред тяжелыми жертвами. Так например бедняга отказывался иногда от пищи, несмотря на то, что он благодаря своей комплекции особенно остро испытывал муки голода. Он рвал письма, получавшиеся от родных, не читая. Не мыл лица и рук, испражнялся под себя, днями не произносил ни слова. Мы, его товарищи по камере, были убеждены, что он сумасшедший. Он «выздоровел» только тогда, когда узнал, что в число амнистированных по какому-то случаю преступников попал и он.

Читатель может себе представить, как были мы удивлены, когда он вдруг принял нормальный человеческий вид.

Даже начальство, пораженное такой силой воли, признало, что он заслужил свободу хотя бы за все вынесенные страдания.

Второй, выделявшийся из общей массы арестантов, был молодой полный блондин из Болоньи, очень симпатичный парнишка, по ремеслу певец из второстепенного провинциального театра. Тенор. Для него тяжелее всего было лишение пения, так как в тюрьме запрещается петь. Сколько раз пробовал он смягчить переливами своего весьма недурного голоса начальство, но каждый раз кончал арию карцером. Он подал даже прошение коменданту тюрьмы, умоляя разрешить ему петь во дворе только два раза в неделю для упражнений, необходимых в его ремесле. Ответа не было. Казалось, что он близок к помешательству. Ночью, уку-

тавшись с головой в одеяло и вытянув рот трубочкой, он шопотом повторял наиболее любимые им арии.

— Никакого удовольствия! — сообщал он нам печально по окончании своих занятий. Однажды он все-таки получил разрешение петь во дворе.

Но от волнения или от долгого перерыва и отсутствия упражнения бедный наш тенор потерпел полное фиаско.

С этого дня он смирился, перестал говорить о пении, прекратил свои упражнения под одеялом и даже написал родителям, что по освобождении переменит свое ремесло.

Третий был венецианец лет двадцати пяти, довольно культурный. Его прозвали профессором. С собою он принес с воли томик Гепли, который он усердно изучал, так как книжку у него не отобрали. Полагаю, что всю свою образованность он почерпнул из этих томиков. Он писал письма за всех неграмотных. Знал все и на все вопросы мог дать нужный ответ. Он выдавал себя за сына богатой семьи (заключенные весьма часто выдают себя за членов богатых или разорившихся «благородных» фамилий) и любил «французить». Он сумел внушить к себе почтение даже тюремщикам и добился от них титула «писаря» секции. Писарь живет общей для всех заключенных жизнью, но ему всегда перепадает лишний кусок, его почти никогда не обыскивают, и в карцер он попадает реже, чем прочие его товарищи по несчастью.

В один прекрасный день «профессор» сказался больным и был положен в больничную камеру тюрьмы. Попасть в эту камеру довольно трудно, но попавший пользуется режимом значительно более приятным: ест

лучше и больше, имеет возможность читать газету и принимать ванну. Хорошо попасть в больницу!

Через несколько дней, бурной дождливой ночью наш «профессор» бежал из больницы при помощи нескольких простынь и больничного писаря. Его вскоре поймали (такие побеги чрезвычайно редко удаются) и, избив до полусмерти, посадили в карцер в ожидании процесса за побег.

*

О том, что происходит за стенами тюрьмы, заключенные знают лишь по рассказам «новоприбывших». В большинстве случаев это очень старые новости, иногда давностью в несколько месяцев, так как «новичок» прибывает большей частью из другой военной тюрьмы или из дома предварительного заключения. Иногда кое-что удается узнать, рискуя карцером, от служебного персонала; случается, что прачка обмолвится чем-нибудь, но это бывает наименее интересно. Однажды на наш вопрос о новостях она с умилением сообщила:

— Говорят, что привезли сахар; думаю, что сегодня будут распределять.

Для нее это было весьма важной новостью.

Однажды на нас буквально посыпались новости... с аэроплана, неожиданно опустившегося над нашей крепостью. Маленькие квадратные листочки бумаги устлали наш дворик, и мы с жадностью набросились на эту неожиданную манну. Это был отрывок из речи, произнесенной Турати в камере. Социалистический депутат говорил: «Наше отечество на Граппа» [54]; понятно, почему правительство допустило этот неожиданный дождь. Вслед за ним прибыло к нам несколько га-

зетных номеров, из которых мы узнали, что война скоро должна кончиться.

Наступил день перемирия.

Горнист протрубил сбор «вне очереди», и вся тюрьма всколыхнулась.

Директор был чрезвычайно озабочен. Заключенные радостно взволнованы, даже те, кто заранее знал, что не будет освобожден. Трудно описать наши чувства; при одной мысли о том, что война кончена, жизнь наша казалась более выносимой и даже паек не таким уж плохим.

Последовавшие потом месяцы были самыми тяжелыми. Ожидание обещанной амнистии, о которой писали газеты, и дня нашего освобождения было долгим и мучительным. Амнистия была объявлена лишь в марте 1919 года, и первые освобожденные вышли на волю только в июне, т. е. четыре месяца спустя. Они показались нам четырьмя веками.

IX

Переход через границу

НЕСКОЛЬКО человек сидели в общей камере и занимались воспоминаниями.

...— Нет, — уверенно говорил товарищ Этьен, поглаживая круглый свеже-выбритый свой подбородок и покачивая ногой, закинутой на другую, — нет, уверяю вас, никакой такой особой ловкости не требуется, чтобы обдуть полицию. Немножко хладнокровия и чуточку нахальства и только и всего.

— Великолепно! — подтвердил Джиакомо, рассеянно перелистывая книгу, — но прежде всего надо знать психологию полицейских, чтобы соответственно действовать. Это вовсе не трудно, наоборот приятно, так как предвкушение удачи доставляет известное удовлетворение.

— Однако, — заметил Арист, усердно чистивший свой костюм, — однако надо отметить неизмеримое расстояние, которое отделяет преступника-политика от уголов-

ного. Обычно уголовный попадается как раз там, где он, будь у него хоть чуточку нюха, мог бы выкарабкаться с честью. Среди самых вульгарных воришек находятся люди, создающие гениальные планы для похищения миллионов, попадающие потом в лапы полиции потому, что они не сумели сфабриковать или раздобыть себе паспорт и вò-время перебраться через границу. Мы же, политические преступники, не сумеем украсть, но перебраться через границу, — в этом мы дадим сто очков вперед кому бы то ни было.

— А помните, — оставил Джиакомо свою книжку, — веселую историйку того юного банковского чиновника, который обобрал банк ровно на миллион и попался в лапы полиции в Лаорка, как раз у подножия Монте Гринья, куда он направился в надежде перейти границу? И как это интеллигентный человек, относительно образованный и достаточно ловкий, сумевший овладеть такой крупной суммой, оказался настолько недалеким, чтобы забраться в этот тупик, из которого один только выход — в тюрьму? Ясное дело, что здесь произошло какое-то затмение, наступившее после слишком острого напряжения всех способностей преступника. Человек, обдумавший свой план похищения вплоть до мельчайших деталей, не догадался заглянуть в какой-нибудь Бедекер, прежде чем направился к границе с миллиончиком в кармане.

— Что за идиот!

— Ну, и гусак же!

— Бедняга... Он не виноват. Он слишком увлекся разработкой своего остроумного плана и не успел ни обследовать карту, ни запастись паспортом.

— Например, турецким.

— ...Или персидским.

— ...Хотя бы армянским.

— Ясно. Мне пришлось однажды путешествовать с весьма исправным паспортом собственного изготовления, который был напечатан в нашей типографии в Лондоне и снабжен нами же всеми необходимыми печатями и визами. Никогда мне не случалось путешествовать так удобно. Когда я представил его на первой же границе, комиссар общественной безопасности взял его, внимательно оглядел со всех сторон, освидетельствовал визы, число, фотографию, прочел приметы, смерил меня взглядом с головы до ног и в упор спросил:

— Вы перс?

Я, конечно, не ответил. Будучи персом, я вовсе не обязан был знать английский язык.

Чиновник обнаружил ко мне то внимание, которое является у человека пред непреодолимым препятствием. Он беспомощно вертел в руках мой паспорт, смотрел его и так и этак с почтением, свойственным чиновнику к бумаге, написанной другими властями и которой он не в силах понять. В сущности полицейский бюрократ перед бумагой с печатями испытывает те же чувства, что и дикарь. Для каффра, для негра с Мадагаскара бумага с печатью — символ власти и порядка, и чем непонятнее бумага, тем она священней. Итальянский чиновник будет придираться к итальянскому документу и изводить вас вопросами: как и почему; к французскому или английскому документу он будет менее строг; а перед турецким или персидским обнаружит несвойственную ему вежливость, внимание и уважение, делая вид, что он знает и здесь все правила и находит ваши бумаги в должном порядке.

Интересно, что, освобождаясь от гнетущей их рутины и постоянного страха пред начальством, эти самые агенты общественной безопасности могут проявлять иногда и человеческие чувства.

— Ну, это того...

— Сантиментальный охранник? В каком зоологическом саду ты его видел?

— Однако это так и случилось со мною, — сказал Арист, — именно со мною. Я переезжал границу с румынским паспортом: господин такой-то, родом из Кишинева и все прочее. Полицейский комиссар, по виду еврей, просмотрев мой паспорт, обратился ко мне весьма приветливо на жаргоне. Я ответил, что не понимаю. Он заговорил со мной... по-румынски. Я сообщил, что не знаю этого языка. Тогда он обратился ко мне по-болгарски. Тот же ответ с моей стороны. Я знал только французский и немецкий.

Полицейский был удивлен. Заглянул в паспорт, осмотрел меня...

— Гражданин Кишинева, который не говорит ни по-русски, ни по-румынски, ни по-еврейски, ни по-болгарски... Как это возможно? — заявил он, насмешливо и подозрительно оглядывая меня.

Я, ничуть не смущаясь, посмотрел ему прямо в глаза.

— Это длинная и печальная история, синьор комиссар. Я родился в Кишиневе в год самого ужасного погрома...

— Достаточно!.. Я понимаю... Можете не продолжать, — прервал он меня голосом, которому старался придать строгость, но в котором проскользнуло сочувствие, взял печать, крепко прихлопнул

ею мой паспорт и, подавая его мне, резко крикнул:

— Проходите!

Я конечно ушел, не дожидаясь повторного приглашения. Четверть часа спустя, когда я восседал в вокзальном ресторанчике перед жалкой свиной котлеткой, утопавшей в подозрительной жидкости, называемой соусом, я снова увидел полицейского комиссара.

Он посмотрел на меня с явной симпатией, как бы выражая свое сочувствие угнетенному сыну угнетенной национальности. Даже свиная котлетка не раскрыла ему моего обмана; раз поверил, значит верно. Сочувствие и жалость ослепили его.

Образ этого сантиментального полицейского сохранился в моей памяти, и когда я вспоминаю о той минуте, когда я был румынским евреем из погромной Бессарабии, я не могу не почувствовать некоторого рода благодарности к почтенному чиновнику, открывшему мне границу.

Группа приятелей весело рассмеялась. Джиакомо освидетельствовал свою неизменную трубку, очистил ее, набил, закурил и продолжал.

— Но, товарищи мои, самый приятный, самый забавный — это тип «старательного полицейского», полицейского с «тонким нюхом», который видит все, знает все, от которого не уйдешь.

— О, эти великолепны!

— Я знавал таких и могу вас уверить, что они доставили мне немало развлечения. Никакой полицейский не поддается так легко, как эти с тонким нюхом.

— Так вот послушайте, что вышло у меня с последним из них... Однажды мы очутились без всякой связи

с товарищем X. Страна, где он жил, оказалась в руках самой черной реакции после подавленной революционной вспышки. О нем ни слуху, ни духу: в тюрьме, убит? — Мрак неизвестности. Было решено, что я отправлюсь на место в целях выяснения его судьбы. Для того чтобы проехать в N, необходимо было пересечь польскую границу. Всем известно, что чиновники польской республики сохранили во всей его неприкосновенности тип старого царского полицейского. Они так же глупы, так же «старательны» и так же усердно разыскивают брошюры и прокламации в вашем багаже, обкладывая пошлиной идеи.

Так вот, я должен был не только разыскать тов. X, но и провезти кое-что из «зажигательной» литературы: прокламации и статьи, которые должны были послужить средством для поддержания начатого движения. И поэтому несмотря на опасность следовало попытаться пробраться через границу. Иного выхода не было. Я вложил в свой тощий чемоданчик немного белья, несколько газет, а компрометирующий материал всунул в двойное дно чемодана. Среди газет я положил также пожелтевший истрепанный экземпляр старинной книги на армянском языке, хранивший следы многих перелиставших ее пальцев и пометок на полях. У книги был достаточно таинственный вид.

На границе чемоданчик был отперт; «старательный» проницательным взглядом окинул газеты и отложил их в сторону для более тщательного обследования. Затем он решительным движением схватил таинственную книгу и стремительно вопросил меня, указывая на нее:

— Это что такое? Что значат эти знаки? Чьи это примечания?

Он видимо не знал по-армянски. У меня же не было ни малейшего желания обучать его этому языку... Тем более, что я и сам не знал его.

— Извиняюсь, — сказал я скромно, почти испуганно, — я в этом понимаю столько же, сколько и вы. Эта книга была вручена мне моей тетушкой для передачи ее племянникам в N. Я не знаю, что там написано, потому что в армянском я смыслю не больше вашего.

Чиновник как будто успокоился, но вдруг снова закричал:

— Это предлог! Предлог, чтобы что-то скрыть и обмануть властей польской республики. Но меня не проведешь! Нет, ни проведешь! — И он вертел в руках загадочную книгу, перелистывал ее, рассматривал со всех сторон, разыскивая ключ к таинственным иероглифам. А время между тем уходило. Наконец ему посчастливилось.

На станции находился еврей, путешествовавший по Армении и понимавший этот язык. Разыскав его, чиновник торжественно взял с него слово говорить правду, только правду и показал книгу. Еврей улыбаясь объяснил:

— Это басни и изречения знаменитого Наср Эддина, самая веселая из литератур Востока.

— А вот эти заметки, что они значат? — все еще не желал сдаваться усердствующий, но уже сконфуженный чиновник.

— Это невинные замечания какого-то юного читателя и ничего больше.

Чиновник положил книгу обратно в мой чемодан, шумно захлопнул его и строго приказал мне торопиться, чтобы не потерять поезда. Я почтительно по-

виновался. Вечером я уже был на месте со всей моей литературой, не тронутой благодаря Наср Эддину!

— Да здравствуют усердные и интеллигентные чиновники! — вскричали товарищи.

А Джиакомо, укладываясь на тощую свою постель, заключил:

— Мне кажется, что мораль всего этого ясна: правительства лучше сделали бы, не затрачивая столько средств на охрану границ.

Конец

ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ

Обложка. Портрет Сератти в арестантском костюме за решеткой тюремной камеры. Этот рисунок был изображен на плакатах, которые имели рабочие Милана во время демонстрации за освобождение Серрати. На плакате надпись: «Желаем освобождения Серрати»! На обороте обложки карта Италии с главнейшими каторжными тюрьмами.

1) Тремити (Tremiti) — скалистый островок в Адриатическом море, куда ссылают преступников. (См. обложку.)

2) Пеллако — известный итальянский анархист.

3) Брага — анархист, позже социалист-реформист.

4) «Domo petri» — дом камня, равносильно нашему «каменный мешок», тюрьма.

5) Франческо Криспи, некогда левый, — председатель совета министров (1887—1896), отличавшийся «твердой» реакционной политикой. Муссолини говорит о себе, что он является «продолжателем политики Криспи».

6) Никотера — противник Криспи, — лидер левого крыла (республиканцев) в Камере Депутатов, министр (1891—1892).

7) Тайани — один из министров того же периода.

8) Гьони Мамелли — банкир, прославившийся своими удачными банкротствами, сделавший на них свою политическую карьеру.

9) Танлонго, Лаццарони и Кучинелли — финансовые деятели, банкроты и фальшивомонетчики.

10) «Римский банк» знаменит в финансовой истории Италии поддержкой некоторым политическим деятелям, в том числе Джиолитти, и скандальным своим крахом.

11) Джованни Джиолитти, «человек из Дронеро» (по месту рождения). Одна из наиболее типичных фигур государственных деятелей. Италии. Ловкий совершенно беспринципный придворный, он долгое время в 1890—1910 гг. и по нескольку раз

был министром и председателем совета министров и фактически руководил судьбами итальянского королевства, применяя подкупы, злодейства, насилия. «Римский банк» на заре его политической деятельности весьма ему помогал. Когда, замешанный в деле фальшивомонетчиков, банк лопнул, Джиолитти бежал за границу, потом снова выплыл на поверхность и, когда стал у власти, вознаградил своих «верных» банкиров чином сенатора. Умер в 1928 г.

12) «Царица небес» (Regina Coeli) — римская тюрьма. (См. обложку.)

13) Король Виктор Эммануил II, дед нынешнего короля Италии, был замешан в деле фальшивомонетчиков.

14) Король Умберто, его сын, уплатил отцовские долги, имевшие уголовное происхождение.

15) Луниджьяна — одна из областей Тосканы, возле Каррары.

16) Барбато, Верро, Монтальто, Ноэ, Петрина — социалисты Сицилии, организовавшие батраков во время восстания «красных фашиев» в 1893—4 году.

17) Феличе Кавалотти, поэт и драматург, лидер итальянских демократов, открытый враг Криспи, убитый на дуэли сторонником всесильного министра, спровоцированной этим последним.

18) Россано — министр, сторонник Джиолитти, покончивший с собой после краха Римского банка.

19) Нунцио Нази — министр народного просвещения, враг Джиолитти, обвиненный им во взяточничестве.

20) Сомаруга, крупный издатель, поддерживавший Джиолитти и получавший от него субсидии, обанкротился с падением Джиолитти во время краха Римского банка и бежал в Америку.

21) Мурате (Murate) — флорентийская тюрьма. (См. обложку.)

22) Сан-Джиованни ин Монте (S. Giovanni in Monte) — тюрьма в Болонье. (См. обложку.)

23) Росси, Думини, Регацци, Вольпи — фашисты-организаторы фашистской милиции, замешанные в убийстве социалистического депутата Матеотти.

24) Польяни и Борлетти — банкиры, сторонники Джиолитти, известные скандальнейшим крахом.

25) Рокко — министр юстиции, фашист, введший в Италии смертную казнь.

26) Эг Морт — городок во Франции, где работает много итальянских рабочих, эмигрирующих в поисках работы.

27) «Коррьере делла Сера» — большая газета, орган крупной промышленности.

28) Сан-Феделе (S. Fedele) — миланское полицейское управление (квестура).

29) Квестор — полицейский начальник (приблизит.) уезда. Префект — полицейский начальник (приблизит.) губернии.

30) Претория — итальянская камера мирового судьи.

31) Вильгельм Обердан — итальянец, австрийский подданный — революционер антимилитарист За подготовку покушения на императора Франца Иосифа (1882 г.), был казнен в Триесте. До мировой войны имя Обердана пугало полицейских, которые арестовывали за сочувствие к нему. Во время войны националисты сделали из него мученика национальной идеи.

32) Камилло Прамполини — лидер старой соц.-демократической партии, депутат камеры депутатов и основатель газеты «Джустиция».

33) Представители Февральской революции, делегированные Петроградским советом раб. депутатов: Гольденберг, Смирнов.

34) Мутэ и Кашэн — соц. депутаты французского парламента, посетившие Россию в 1917 г.

35) Лабриола, Лерда и Раймондо — соц. депутаты итальянского парламента в 1917 г.

36) Капоретто, город северо-восточной Италии, где осенью 1917 г. итальянцы были на-голову разбиты австрийцами и бежали.

37) Туллио Мурри — социалист, приговоренный к 30 годам «галеры» (каторжная тюрьма) за участие в убийстве.

38) Берсальеры — итальянская легкая пехота, отличающаяся особым маршем-бегом — «берсальерский шаг».

39) Мальви — министр Франции перед войною, обвиненный вместе с Кайо в германофильстве.

40) Франческо Нитти — председатель совета министров в Италии, лидер демократической буржуазии. Автор книги «Европа без мира».

41) Уголино Делла Герардеска (XIII в.) тиран г. Пизы, которого архиепископ пизанский сверг и заключил в башню Гва-

ланди вместе с его двумя сыновьями и двумя внуками. Ключ от башни он бросил в море. Уголино видел, как умерли от голода его внуки и его сыновья. Он погиб последним. Башня эта была прозвана «башней голода».

42) Каторга в Анконе и Чивита-Кастеляна. Древняя «галера» заменена заключением в особых каторжных тюрьмах, куда направляют за особо тяжелые преступления.

43) Маффи, Грациадеи — депутаты камеры, коммунисты, арест которых отклонялся несколько раз старой палатой депутатов, но которые были выданы теперешней. Маффи находится в тюрьме, и жизни его угрожает опасность. Ромита — социалист-максималист.

44) С. Стефано, Порто Лонгоне — каторжные тюрьмы в Италии.

45) Баско, Николо Барбато, Джиакомо, Монтальто, Бернардино Верро — см. пр. 16.

46) Бизаквино — маленький городок в Сицилии.

47) Понца — остров у берегов Сицилии, на котором расположена каторжная тюрьма.

48) Гандольфо, Россони, Рокка, де Микелис — бывшие левые, политические эмигранты, ныне фашисты, прислужники Муссолини.

49) 1911 г. война с Турцией из-за Триполи.

50) Соннино — министр иностранных дел во время мировой войны.

51) Федерцони — министр внутренних дел в 1926 г., националист, журналист.

52) Морра — азартная игра, еще с времен цезарей запрещавшаяся, но до сих пор в сильном ходу у итальянского простонародья.

53) Генерал Кадорна — главнокомандующий итальянской армией в начале империалистической войны, знаменитый своими хвастливыми всегда «победными» бюллетенями с театра войны.

54) «Наше отечество на Граппа». Социалистический депутат Турати произнес в камере депутатов патриотическую речь, защищавшую позицию итальянского правительства. Граппа — гора в юго-восточ. Альпах, важный стратегический пункт.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

К читателям 3
Джачинто Менотти Серрати 5
I. Открытое письмо ком. Гепли 13
II. Как в нее входят 26
III. Передняя 47
IV. В камере 61
V. Одиночка 72
VI. Угрызения совести 78
VII. В арестантском вагоне 86
VIII. Военная тюрьма 92
IX. Переход через границу 113
Примечания к тексту 123

С.С.С.Р.
ИНСТИТУТ
К. Маркса и Ф. Энгельса
Ц. И. К.